

Марк Харитонов

День в феврале

Повести

Москва
Советский писатель
1988

Х у д о ж н и к и
Василий Валериус
Марат Ким

Харитонов М. С.
Х 20 **День в феврале: Повести.**— М.: Советский пи-
сатель, 1988.— 512 с.

ISBN 5—265—00082—8

«День февраля» — первая книга М. Харитонova. Повести, вошедшие в нее, потребо-
вали десяти лет творческого труда.

В повести «День в феврале» рассказывается о Н. В. Гоголе. Об эпохе царствова-
ния Ивана Грозного — в повести «Два Ивана». Повесть «Проход Меншутин» —
о быте современной провинции.

4702010201—422
Х ————— 146—88
083(02)—88

ББК 84 Р 7

© Издательство «Советский писатель», 1988

Прохор Меншутин

II

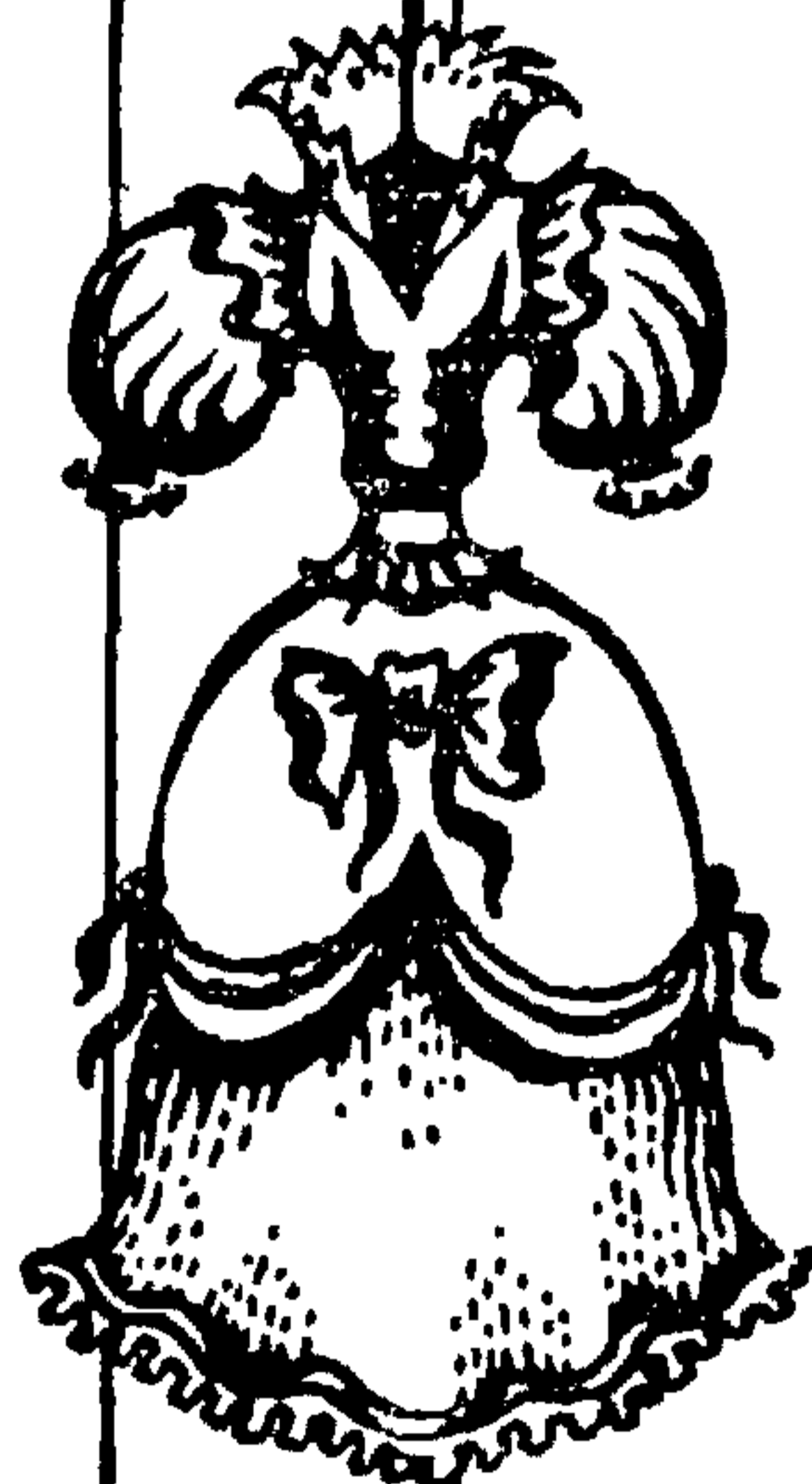
З ш
л

ПРОХОД

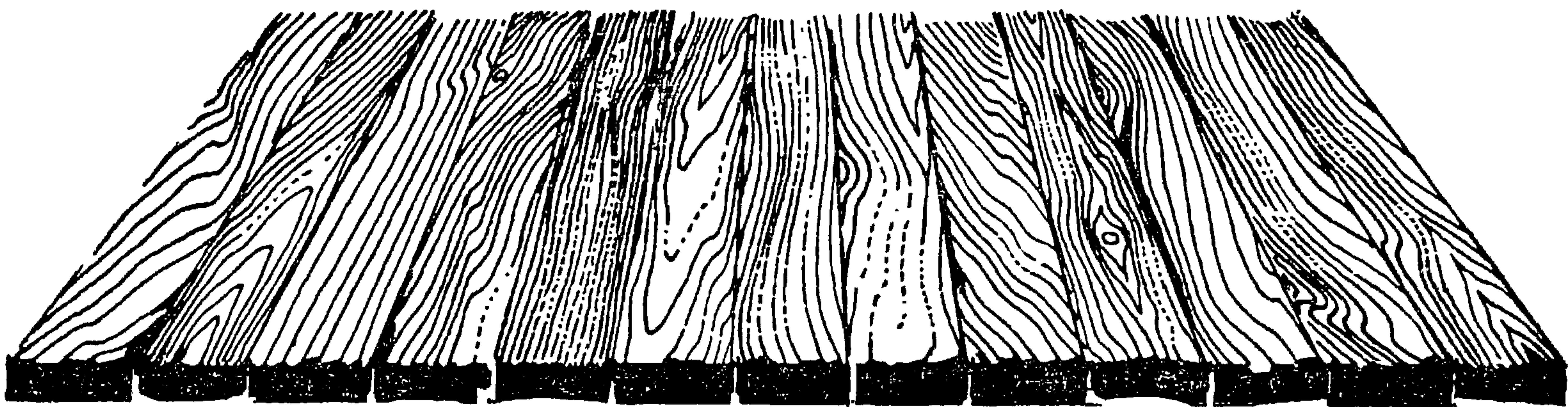
МЕНЬШУТИН

МЕНЬШУТИН

МЕНЬШУТИН



Золушка
и



Когда супруги Меньшутины поняли, что своих детей у них уже не будет, они решили взять приемыша. Это была девочка двух с половиной лет, темноволосая, худенькая, большеротая — этакий лягушонок. На какую-то минуту Анну Арсеньевну смутила мысль, что среди детей, которых им показывали, можно было выбрать и покрасивее; но Прохор Ильич твердо остановился на этой и в следующую минуту сомнения стали праздными: свой ребенок — о чем говорить. Имя девочке было приготовлено давно: Заира; у Прохора Ильича с ним было связано смутное, но глубоко запавшее театральное воспоминание о некоей прекрасной героине, о характере страстном, женственно-сильном и ярком. Называя так девочку, Меньшутин словно примерял к ней этот характер. Он подходил к выбору имени как автор, ясно и далеко определивший своих персонажей, — когда убежден, что нельзя назвать человека Павлом, если он явный Валентин, и что женщина по имени Елена обязана, а то и обречена быть красавицей, причиной мужского соперничества. Говорил он такие вещи, конечно, полушутя, но Анна Арсеньевна подозревала, что муж и впрямь подбирал девочку под заготовленное имя; какую одному ему очевидную Заиру вообразил он в этом большеротом заморыше — бог весть. Против имени Анна Арсеньевна ничего не имела, отнюдь, ее только смущали иногда все эти мужнины фантазии. С обычным своим здоровым юмором она напредила ему анекдот про учителя математики, назвавшего дочек Медя и Бися, то есть Медиана и Биссектриса; Прохор Ильич с готовностью подхватил шутку и сам рассказал парочку историй на ту же тему. Насколько он в этом деле серьезен, понять бывало трудно. Он ведь и своему простоватому крестьянскому имени любил давать многозначительное толкование: Прохором звался, оказывается, предводитель древнегреческого хора,

первое его лицо, запевала и главный танцовщик, исполнитель и одновременно дирижер-постановщик, — можно сказать, воплощение универсальной идеи артиста. Меньшутин говорил, что, лишь вычитав это из случайного словаря, он окончательно утвердился в выборе профессии. Слушатели посмеивались — впрочем, не вполне уверенно; очевидно, тут была шутка, но в том-то и дело, что с него это могло стать и взаправду. Такой уж он был человек.

Он был артист, солист филармонии в областном приволжском городе. Перед войной он начинал играть в драматическом театре, с фронта вернулся прихрамывающий, и это, конечно, затруднило его работу, хотя на сцене Прохор Ильич умел сделать свою хромоту почти незаметной. Скоро он перешел на эстраду, не без успеха вел конференсы собственного сочинения, при надобности мог спеть куплеты, пожонглировать и даже показать довольно сложные фокусы. Главным же умением Меньшутина, которое определило его положение на эстраде, была способность к звукоподражанию. Он мог представлять голоса животных и любой музыкальный инструмент; номера его так и назывались: «Соло на балалайке без балалайки» или «Соло на саксофоне без саксофона»; таким же образом он мог изображать гавайскую гитару, скрипку, арфу или валторну; мог, кстати, играть и на настоящих инструментах, но все самоуком, по слуху — нот он не знал. Жена Анна Арсеньевна аккомпанировала ему на рояле. Вообще его отличала азартная жадность до любых новых знаний и умений, пусть даже практически не нужных; на его полках можно было встретить книги по философии и медицине, истории искусств и даже физике, были здесь и редкости вроде старинного Брюсова календаря или «Сонника Мартына Задеки» 1914 года издания; среди его знакомых имелись садовники и циркачи, в том числе один заезжий гипнотизер, который когда-то бежал из румынской тюрьмы, внушив охранникам, будто перед ними важное начальство, и которому ничего не стоило всучить любому кассиру вместо красной тридцатирублевой ассигнации чистенькую бумажку (в виде опыта, естественно, не всерьез). Последнее знакомство, увы, оказалось недолгим, новый приятель Меньшутина внезапно исчез из города; так и осталось неизвестным, успел ли Прохор Ильич приобщиться к его тайному умению. Некоторые говорили, что ему и учиться

не надо: в его больших, желтоватых, с влажной поволокой, как у красивой женщины, глазах светился какой-то завораживающий огонек, и, встречаясь с ним взглядом, люди испытывали странное смущение. К счастью, он имел привычку говорить, не глядя на собеседника, — словно прислушиваясь к своим, внутренним мыслям, которым посторонние впечатления только мешали.

У него была несоразмерно крупная голова с высоко облысевшим лбом; тело казалось из-за этого коротким, хотя стоило ему стать с кем-то рядом — и обнаруживалось, что он, по меньшей мере, среднего роста, даже несколько выше. Лицо было неполное, но круглое по устройству черепа; шишечка толстоватого носа чуть сдвинута вправо; на подбородке и над неровной верхней губой — ямочки-бороздки, такие глубокие, что в них то и дело оставалась недобрита щетина. Несимметричное это лицо порой могло выглядеть нервным, напряженно-энергичным, но в каком-то повороте освещения оно словно разглаживалось, становилось невыразительным, мягким, почти бабьим. Столь же странно-двусмысленным был голос Меньшутина; на сцене хорошо поставленный благородный баритон, в обычном разговоре он оказывался неярким, суетливым, сипловатым; так трудно бывает узнать певца, когда он изъясняется повседневной прозой. Этот обыденный голос, пожалуй, больше подходил к прозаической внешности Прохора Ильича, к его носу-картошке и вечно растрепанным волосам; благородный баритон вызывал несколько даже комическое несоответствие, каковому Меньшутин отчасти и был обязан своим успехом в роли конференсье.

Но уж что действительно способно было вызвать смущение — так это его характер. Определеннее всего судили о Меньшутине люди, недолго его знавшие, а таких было большинство, — он был общителен, но непривязчив. Говорили о нем как о человеке способном, даже по-своему талантливом — но как об одном из тех нередких на Руси «вообще» талантливых людей, которым словно какой-то неясный зуд мешает осуществить свои возможности в серьезном положительном достижении; до седых волос они лишь пробуют силы — может быть, от чрезмерной широты, от неспособности удовлетвориться одной частной областью, удержаться на одном месте и сосредоточиться на

одном умении, может, от пренебрежения к житейской реальности — в фантазиях о чем-то теоретическом, неопределенно-великом. Меньшутин был слишком невнимателен к повседневной прозе, а уж тем более к обычным артистическим хлопотам и интригам, без которых в этой своеобразной среде, видно, не обойтись; при весьма порывистом темпераменте он был чересчур уступчив и неделовит, а в результате всю жизнь оказывался обойден и ролями, и квартирами, и путевками. Некоторые находили в нем черты типичного чудака-неудачника — впрочем, по-своему счастливого, ибо сам он как будто не замечал ущемленности и многочисленные истории своего невезения рассказывал с привычным юмором.

Например, о том, как в войну, которую Прохор Ильич начинал санитаром в прифронтовом госпитале, он однажды потерял мочу знаменитого генерала. То есть, если выражаться точнее, разбил пузырек, доверенный ему для доставки в лабораторию, — а потом стоял навтыяжку перед начальником госпиталя (Прохор Ильич изображал все это весьма картинно) и, не понимая, почему тот воспринял событие так трагически, с заиканием, которое иногда появлялось у него от волнения, бормотал в свою защиту: «Т-так он еще может...»

Или, скажем, историю, объяснявшую происхождение его хромоты, тоже фронтовую, когда Меньшутин служил уже в пехоте (он давно, по его словам, рвался из госпиталя, но лишь после случая с мочой был наконец с удовольствием отпущен) и товарищи послали его в деревню за самогоном.

Потом только он понял, что то была шутка, розыгрыш, никто и не ждал, что он всерьез отправится к указанной ему крайней избе (якобы обитавшая там бабка-самогощица была просто выдумкой остряков, игрой, так сказать, их веселого воображения). И уж конечно никто не мог ждать появления у околицы шального немецкого мотоциклиста; промчав мимо первых изб и поняв свою ошибку, он тут же рванул назад, и единственной жертвой его единственного, с перепугу, выстрела оказался Прохор Ильич Меньшутин. Но самое-то интересное — из-за пазухи у него подоспевшие товарищи извлекли зеленую литровую бутылку, полную самого настоящего, еще теплого самогона, причем очевидцы подтвердили, что он никуда не заходил, кроме той самой крайней избы...

Такие вот истории он о себе рассказывал; может, при-

сочинял, но может, и нет; происшествия были в его духе. Он до сих пор отличался забавным простодушием, держался со всеми как младший по возрасту, радовался любой возможности услужить; показать встречному дорогу было для него удовольствием — он делал это со вкусом, готовый проводить до самого места и чуть ли не поблагодарить за то, что к нему обратились. При не лишенном внушительности внешнем виде во всей повадке Меньшутина проявлялось по сравнению с любым из коллег его возраста что-то несолидное, школьное — как в слове «промокашка» рядом со словом «пресс-папье». Он так и шел по жизни — с поддрагивающей смущенной улыбкой на неровных напряженных губах, точно извинялся перед всеми за свою неловкость, незадачливость. В невезении своем Прохор Ильич был убежден фатально и, когда ему предлагали разыграть с кем-либо по жребию путевку или, напротив, малопривлекательную гастроль в подшефный район, заранее соглашался считать себя проигравшим. Если же кто-то настаивал на подтверждении, Прохор Ильич подбрасывал монету, и она у всех на глазах три раза подряд неизменно падала вверх решкой — зрители только сочувственно разводили руками, а Прохор Ильич, втянув голову в плечи и, по обыкновению, ни на кого не глядя, для вящей убедительности продолжал подбрасывать монету — и она падала вверх решкой пять, десять и пятнадцать раз подряд, издеваясь над утешительными законами вероятности... Вот тут-то присутствовавшие начинали испытывать неясное смущение, в туманной улыбке Меньшутина готова была почудиться двусмысленность, и хотя сам же он, словно извиняясь за допущенную нелепость, поскорее возвращал разговор к чему-то более достойному, те, кого этот привкус двусмысленности, сомнительности настигал неоднократно, уже не могли просто от него отмахнуться, так что чем дольше знал человек Прохора Ильича, тем менее уверенно брался он о нем судить. Особенно же сомнения испытывала иногда жена Меньшутина, Анна Арсеньевна.

Это была миловидная, девически стройная женщина с прекрасными рыжеватыми волосами, которые она безжалостно укорачивала, чтобы не тратить лишнего времени на прическу, но которые, несмотря ни на что, сохраняли неукротимую пышность. Лицо ее с нежно-белой кожей,

какая бывает у рыжих людей (к весне на ней собирались проступить веснушки, но так и оставались непроявившимися, как на недодержанной фотографии), обладало способностью краснеть в самую неожиданную минуту, когда Анна Арсеньевна вовсе и не думала смущаться, от этого она в самом деле смущалась и, досадуя на себя, старалась держаться и говорить в такие минуты с подчеркнутой независимостью, отчего становилась лишь более привлекательной. Ум у нее был насмешливый и куда более трезвый, чем у мужа; если Прохор Ильич добился какого-то положения, то во многом благодаря ей. И дело не в том, что она обладала большей хваткой, — для себя ей ничего особенного не было нужно, она была из тех людей, что на званом ужине берут себе от общего пирога самый маленький ломтик — и не только потому, что вообще мало едят, — им так просто даже приятнее; ее не тяготила теснота маленькой комнаты в коммунальной квартире, где после десяти запрещалось играть на пианино, свою очередь на новое жилье она уже уступила однажды шоферше с ребенком. В этом смысле она была под стать мужу. Но она не могла смотреть, как ущемляется его самолюбие; она любила его, и она переживала, видя, что сам он как будто неспособен был это понять. Когда в театре, где прежде работал Прохор Ильич, не постеснялись воспользоваться его талантом звукоподражания и пригласили изображать за кулисами в каком-то детском спектакле собачий лай и петушиный крик, а он согласился — он просто не умел отказываться, и главное, не считал унижительным лаять за кулисами сцены, где ходил когда-то полноправным, пусть и не на первых ролях, актером, — Анна Арсеньевна не позволила ему этого делать. Если б еще хоть кто-нибудь способен был оценить, каким искусством на самом деле был его лай! Никто не мог сравнить его с природными голосами, никто, кроме Анны Арсеньевны, не подозревал, как глубоко постиг он тонкости звериного языка; он различал и мог воспроизвести их ласку, умиленность, гнев, предостережение, он мог заставить ворона в небе задержать свой полет и снизиться, издав гортанный, металлически-резкий крик; коза, привязанная к колышку, начинала нетерпеливо рваться навстречу его голосу, зяблики и чижи заводили с ним простодушные дуэты, ласточки ныряли в свои лепные гнезда, когда он говорил им об опасности, и голенастые лоси величаво неслись к нему сквозь осенний лес, ломая сухие ветки...

...Она была влюблена в своего мужа, верила в его незаурядность и, в отличие от других, подозревала, что сам он вовсе не лишен честолюбия, может быть, крайнего, чрезмерно общего. Ее то и дело озадачивала его склонность вводить самые простые жизненные вещи и события в переплетении многозначительных символов, ассоциаций, теорий.

Одна из наиболее занимавших его идей была связана со значением имени Прохор, смысл которого он для себя со временем уточнял.

— Это все-таки не актер, не деятель сцены, я убеждаюсь. Это был участник древнейшего действия, понимаешь? Не спектакль, не искусство — эпизод жизни, возведенный в степень искусства, — вот его сфера. Когда нет отдельно зрителей и актеров, нет рампы и сцены, люди не играют — они живут по законам игры, по мифической схеме. И как живут!.. то есть жили... Ах, черт возьми! Они плакали настоящими слезами и смеялись настоящим смехом, они могли по-настоящему умереть в экстазе, разыгрывая неизвестно кем сочиненный сценарий. И переставали хоть на это время быть глиной, повседневным месивом, удоставались формы — формы, понимаешь?.. — и направляли все это его пальцы, пальцы Прохора. Хоть он вроде и сам был всего лишь частицей той же глины... А?! Когда думаешь об этом, ясно, почему тебя так давит коробка сцены... кулисы, задник, зрительный зал где-то под ногами, — это, право, сковывает. Я — Прохор, сцена не по мне, в ее рамках я не могу до конца осуществиться, оформиться, стать самим собой. Не знаю, не знаю... В прежнем виде — как праздник, мистерия — все это, разумеется, ушло, да и не в греках дело. То, что осталось: какие-нибудь обряды, масленица, — жалкие отголоски... Я ведь еще помню, — баритон Прохора Ильича размягчался от воспоминания, — я помню ряженых, коляды, кулачные бои на реке, стенка на стенку. Я ведь вырос в маленьком городишке. В сущности, я провинциал. Это чувствуется. Иногда мне кажется, что в таком вот городке, где все друг друга по-соседски знают, мне и сейчас было бы проще. Там можно бы что-то попробовать, там живешь по-другому. Там все может произойти. Наша российская провинция, знаешь ли, край фантастический. А? Иногда приходит на ум бог знает что...

Он говорил, глядя внутрь себя, изгибая в неровной улыбке уголок большого рта, мял, похрустывая, свои круп-

ные подвижные пальцы. Анну Арсеньевну такие разговоры заставляли насторожиться.

— Все это слишком сложно для женского ума, — говорила она, прищурясь.

Готовая любовно восхищаться обширностью его познаний, она сомневалась, на пользу ли артисту такая эрудиция, а главное — она боялась обнаружить за этими премудростями и фантазиями самооправдание неудачника, комплекс лисицы, не сумевшей дотянуться до винограда. Каждый раз, когда он возобновлял свои туманные, осторожные намеки, Анна Арсеньевна охлаждала его здоровыми и насмешливыми доводами. Прохору Ильичу это всегда нравилось, он защищался мягкими остротами, начиналось их обычное веселое пикирование, заставлявшее обоих все больше восхищаться друг другом и заканчивавшееся объятиями и нежностями, потому что кто-кто, а они с годами ничуть не утратили способности и вкуса к любовному сумасбродству.

Анна Арсеньевна была влюблена в своего мужа. Если б она знала наверняка, что ему надо! Действительно ли ему хочется оставить сцену? Действительно ли его самолюбие не трогают повседневные уколы? Ведь даже продавщицы и кассирши в магазинах считали своим долгом обвесить и обсчитать его — как будто на взгляд чувствовали, с кем имеют дело. Анна Арсеньевна пыталась и тут воздействовать на него иронией — и наконец дождалась: впервые услышала однажды, как он ругается в магазине с продавщицей.

— Ну это уж совсем наглость, — говорил он своим сценическим благородным баритоном, с некоторой дрожью волнения. — Я понимаю, обвесить на пять граммов, ну, на десять, как всегда. Но сразу на полкило... это извините...

— Почему... да вы что? — бормотала растерянная продавщица. — Вы же выбили за килограмм.

— Совершенно верно. Килограмм сахару. Я специально два раза повторил.

— Ну?

— А у вас что весы показывают? Пятьсот граммов. Смотрите. Даже четыреста девяносто пять. Думаете, опять промолчу? Нет уж, виноват. Молчал — но надо и честь знать.

— Так я на другую сторону еще гирьку положила, —

все еще ошарашенно оправдывалась продавщица и в доказательство даже приподняла эту гирьку. — Вот, полкило...

Анна Арсеньевна стояла поодаль у кассы и видела, как Прохор Ильич словно даже в росте уменьшился; забормотал извинения уже другим, осевшим и как бы скомканным голосом, подхватил свой злосчастный кулек и попятился от прилавка, сопровождаемый напутствием продавщицы, которая наконец овладела подлинным тоном и стала прохаживаться насчет «интеллигентов несчастных», насчет «нужны мне ваши копейки», и, увы, как это ни банально, насчет шляпы, которую Прохор Ильич то и дело нервно поправлял на голове. Он пятился, с нелепой улыбкой кивая головой, — не то признавая вину, не то раскланиваясь, — пока не нашел взглядом Анну Арсеньевну (казалось, он готов подозвать ее тем автоматическим жестом, каким всегда представлял публике своего аккомпаниатора), быстро подхватил ее под локоть и поспешил ретироваться. Лицо Анны Арсеньевны пылало, она готова была поколотить этого нескладного человека, но когда они вышли — почти выбежали из магазина, ей стало вдруг смешно, и Прохор Ильич, который все отдувался, покачивая головой и отирая платком высокий лоб под шляпой, тоже неуверенно хмыкнул... Больше она к этой теме возвращаться не рисковала.

Примерно в ту же пору, когда начались разговоры об уходе со сцены, Прохор Ильич загорелся мечтой о дочери; казалось, эти две идеи были для него связаны. Тут Анна Арсеньевна ничего не имела против; она лишь вносила корректив в ту полную символов многозначительность, с какой он, по обыкновению, обставлял это решение. Для нее все называлось словами более простыми, но не казалось от того менее прекрасным. Оба они были тогда еще достаточно молоды, однако им пришлось без малого полтора года поволноваться, пока Анна Арсеньевна не убедилась, что забеременела. Это было время их самой счастливой близости, когда они чувствовали себя настолько слитными, что слышали мысли друг друга издали, без слов; находясь в разных концах города, они физически ощущали, как их тянет, тянет друг к другу — на трамвае, потом пешком, бегом по тесным дремучим переулкам, тянет, приподнимая над поверхностью земли, сквозь тихий звенящий воздух, так что они могли бы находить направление не глядя, двига-

ясь словно по невидимой силовой линии — напрямик, с досадой огибая углы, как ненужное препятствие, — чтобы наконец соприкоснуться, прижаться, вжаться друг в друга и вновь стать одним целым...

Вздорная соседка, запрещавшая им по вечерам играть на пианино, как раз в ту пору написала на них заявление, полное туманных фраз о «людях, пренебрегающих правилами общежития в период, когда мы идем к торжеству новой морали». Анна Арсеньевна не сразу поняла, почему при этом была упомянута тонкостенность перегородки между их комнатами, а когда поняла, покраснела, как никогда в жизни. Дело в том, что их двухэтажный, с надстройкой, дом представлял неумышленный строительный шедевр своей редкостной сейсмической чувствительностью. Не только проход трамвая по отдаленной улице, но даже детские прыгалки во дворе отзывались звоном стаканов и рюмок в буфете, дребезжанием стекол в плохо промазанных окнах, а иногда — если удавался резонанс — и звуком той или иной струны пианино. О знаменитом ашхабадском землетрясении Меньшутины узнали до всяких газет — с подробностями о часе и минуте и примерной силе толчка, от которого упала с буфета и разбилась фарфоровая статуэтка балерины. Впервые догадавшись, какое беспокойство доставляет соседке их счастье, Анна Арсеньевна почувствовала себя до беспомощности виноватой. Соседка была пожилая дева с фантастической фамилией Лунацик. Прохор Ильич, верный своей теории, предположил, что из-за фамилии она и осталась в девицах, на что Анна Арсеньевна резонно возразила, что ее родителям та же фамилия не помешала произвести потомство. На что Прохор Ильич тоже не без резону заметил, что родительница Лунацик вряд ли имела вдобавок имя Индонезия Семеновна. Тут уж Анне Арсеньевне пришлось с ним согласиться. Но в своем имени бедная Лунацик была не виновата. Анна Арсеньевна просто не знала, как ей угодить и чем утешить.

Так она всю жизнь и жила — с ощущением вины за счастье, которым не вольна была поделиться со всеми. А какое у нее было особенное счастье? Такой палец покажи — засмеется.

За полтора года ожидания Анна Арсеньевна несколько поутратила былую уверенность, заразилась от мужа нервною, даже стала чуточку суеверной. С нетерпением

дожидалась она поры, когда в узком просвете между домами перед их окошком появится полная луна, чтобы подставить ей свой набухавший живот, — теперь ей тоже хотелось непременно девочку. Впрочем, она не сомневалась, она чувствовала, что так оно и будет. В ней развилось необычное чутье, она различала насквозь все плодоносящее, всякую завязь и полноту. «Неужели ты не видишь?» — приводила она в смущение мужа, заставляя его уступить место в трамвае совсем еще стройненькой девочке. Да и сама девочка смущалась — ни разу Анна Арсеньевна не ошиблась. Было начало лета, она смотрела на отцветавшие вишни, трогала пальцами белые цветы и, чуть отколупнув, заглядывала внутрь, туда, где на цветоножке начиналась толстенькая зеленая завязь, — смотрела и тихо улыбалась; иные цветы были пусты, их красноватые черенки покрывали перекопанную густо-коричневую землю, она улыбалась с чувством жалости к этим неоплодотворенным цветам и стыда за свое счастливое превосходство. Но и оплодотворенные цветы постепенно жухли и отпадали — сначала с вишен, затем с яблонь, оставляя после себя почти незаметный точечный след, черное пятнышко на будущем яблоке, на противоположном конце от стебля-пуповины — черную точку вместо белого прекрасного цветка, — отпадали, умудряя Анну Арсеньевну грустной мыслью о судьбе родителей в детях. Были среди плодов и такие, что начинали завязь, вырастали до размеров вишневой косточки, потом вдруг тоже теряли силу и усыхали зелеными; тогда вновь вспоминалась тревога и нервность...

Самой Анне Арсеньевне еще долго не уступали места в трамвае, особенно если она была в пальто. Однажды они с Прохором целовались на скамейке в сквере и, поднявшись, увидели, как озадаченно приоткрыла рот косившаяся на них тетушка. «Современная молодежь, — прокомментировал за нее Меньшутин, — пять минут поцеловались на скамейке — и уже с животиком...» Это был тот самый день, когда Анна Арсеньевна увидела перед выходом из сквера черную кошку, она пролезла сквозь низкую решетку и перебежала к противоположному газону. Анна Арсеньевна невольно замедлила шаг и придержала за локоть мужа — сама посмеиваясь над своим трусливым суеверием. Оглянувшись, она увидела за собой студента в очках, он читал на ходу учебник. «Пусть обгоняет, — подумала Анна Арсеньевна. — В худшем случае получит

перезкзаменовку, невелика беда». Тем более что кошка бежала справа — для мужчины это сводило опасность примет до минимума. Студент шел медленно; оглянувшись еще раз, она увидела, что их обоих нагоняет мальчишка, держалкой из гнутой проволоки он вел визжащий ржавый обруч. До мысленной линии — следа кошки — оставалось уже несколько шагов; Анна Арсеньевна, вдруг застыдившись сама себя (и лицо тотчас вспыхнуло), поскорей потянула углубленного в свои мысли мужа к этой черте — сама продолжая оглядываться на мальчика и все посмеиваясь над этим глупым соревнованием; она не заметила резвой девчушки лет пяти, которая все вырывалась из рук бабушки, сидевшей на скамейке, наконец вырвалась и с разбегу ткнулась головой в живот Анны Арсеньевны. Это было не так уж больно, однако Анну Арсеньевну захолонуло от страха. Она сумела улыбнуться и погладить девочку по головке. «А если б мы с тобой были паровозы?» — мягко сказала она. Тут беглянку настигла бабушка, засуетилась: «Негодница, вот скажу тете с дядей, они тебя возьмут». — «Зачем? — не поддержала ее воспитательного обмана Анна Арсеньевна. У нас скоро своя будет». (Потом в больнице сказали, что была действительно девочка.)

До вечера она прислушивалась к себе: все было нормально; и даже почувствовав себя к вечеру плохо, долго боялась признаться в этом. Прохор Ильич отвез ее в больницу слишком поздно. Впрочем, это все равно уже ничего бы не изменило...

Несчастье Анна Арсеньевна перенесла стойко, только из характера ее исчезла былая легкость, да и здоровье долго не выправлялось. Прохор Ильич трогательно ее утешал: «Постараемся еще разок, верно?» Они любили друг друга теперь, быть может, сильнее, чем прежде; бедная Луначик, внезапно подобревшая к ним после несчастья, уравнившего их, встречала их по утрам выжидательным взглядом, как бы спрашивая: «Ну что, все в порядке?» Но был в этом уже привкус надрыва. Оба извели себя, пока не получили подтверждения, что ждаты им нечего.

Почти через три года после случившегося они взяли себе приемную дочь. И сразу же вслед за этим оставили свой город, работу и жилье, чтобы переселиться в места, где никто и никогда не мог бы сказать ни девочке, ни им самим, что дочь у них неродная.

Так у них было условлено с самого начала, но Анна Арсеньевна думала, что они переселятся в такой же областной центр с театром, с филармонией, с эстрадой,— Прохор Ильич имел приглашения. Он поехал куда-то выяснять условия, а вернувшись, огорошил ее известием, что нашел место директора Дома культуры в никому не известном крохотном райцентре, от самого названия которого — Нечайск — веяло замшелой провинциальностью, пыльными улицами, гераньками на окошках и колесным скрипом... Так, значит, все эти туманные, осторожные разговоры, необязательные фантазии, от которых она старалась его отвлечь — и казалось, совсем уже отвлекла,— все это было для него всерьез, а теперь оборачивалось всерьез и для нее? — думала Анна Арсеньевна, слушая его виноватые объяснения.

— Тебе там тоже найдется работа,— говорил он.— Будешь преподавателем или даже директором музыкальной школы. Ты ведь раньше преподавала, и, по-моему, тебе это нравилось больше, чем концерты. Аннушка, будем откровенны: тренькать до пенсии на балалайке без балалайки — не предел моих мечтаний. Если захочешь, я буду исполнять эти номера каждый вечер лично для тебя. Или даже научусь играть на настоящей балалайке. Хотя для меня это еще менее интересно. Надо однажды вырваться, это не так страшно, как кажется. Страшнее инерция...

Значит, так оно и есть, думала Анна Арсеньевна. Значит, ее не обманывало чувство, что Прохор тяготится своим положением,— но она словно ждала еще окончательного доказательства. «А что же предел твоих мечтаний?» — хотела она спросить, но не стала — пожалела лишней раз язвить, да и ответил бы он каким-нибудь расплывчатым философствованием — то ли не желая до поры выдать слишком сокровенный замысел, то ли сам смутно его представляя...

— Это удивительный городок,— говорил он между тем шепотом, потому что рядом, в уголке за платяным шкафом, спала Заира; они еще не успели привыкнуть к звуку ее дыхания, и шепот их был преувеличенно осторожен.— Ты увидишь. Лес, тишина, игрушечный монастырь над

озером. Декорация для сказочного спектакля... Конечно, денег у нас будет поменьше. Зато и жизнь там несравненно дешевле. У всех свои овощи, свое молоко. Мы тоже можем завести корову.

— Боже, о чем ты говоришь! — всплеснула своими прекрасными руками Анна Арсеньевна.

— А что, я всю жизнь мечтал иметь свою корову. Нежнейшее воспоминание детства: теленок лижет щеку... И главное, Аннушка: вместо коммунальной квартиры — дом, целый собственный дом с участком, и никаких землетрясений, никаких соседей за стеной. Совсем за бесценок, я уже сговорился. На самом краю города, у леса. Прямо за забором начинаются сосны, шишки падают в огород, ими можно растапливать самовар.

— Но у нас нет самовара.

— Будет, это уж непременно будет! Ты пила ли когда-нибудь чай из самовара, поставленного сосновыми шишками, бледная ты моя горожанка?

— Пила, — усмехнулась Анна Арсеньевна. — На даче.

— На даче! А тут — в любое время. Ты поправишь там свое здоровье. Там воздух пахнет витамином «С», а когда проходит дождь, он успеваает так пропитаться этим ароматом, что воду можно пить как целебный настой. Подумай, наконец, как хорошо там будет девочке...

Когда он говорил так, ухитряясь даже в шепоте сохранить убеждающую бархатистость, говорил, глядя на нее своими глубокими, с влажной поволокой, глазами, Анна Арсеньевна готова была поверить, что он и впрямь успел овладеть искусством гипноза.

И еще — потом, когда все было решено и она ударилась в спешные хлопоты, — ее поразила вдруг мысль, что при всей своей видимой разбросанности и уступчивости он в конечном счете всегда добивался своего — как будто настолько не сомневался в этом своем, что его не заботило, какими путями, в какие сроки и с какими подробностями оно осуществится. Анна Арсеньевна так и замерла от этой мысли перед грудой разнокалиберных кастрюлек, которые она как раз пыталась покомпактней разместить одну в другой; потом усмехнулась и качнула головой. Может быть, может быть. Он умел подтолкнуть события как бы ненароком; Анна Арсеньевна ловила его на совершенном мальчишестве: ему нравилось кашлянуть на кон-

церте в самый проникновенный момент тихого скрипичного соло, чтобы вызвать во всем зале неизбежную эпидемию ответного кашля. Поди пойми его. Ей вспомнилось, как в какой-то момент разговора в черной глубине его зрачков зажглись два точечных желтоватых фонарика... Может, и впрямь вела его какая-то мысль, какая-то идея; мужчинам всегда надо нанизать жизнь на какую-то идею, они не могут — просто жить... А может, он своим решением всего лишь пытался смягчить, оттянуть признание собственной несостоятельности?.. Снова она ни в чем не была уверена. Но тут же — стоя с двумя эмалированными кастрюльками в руках — она поняла вдруг еще и иное: что для нее это уже не имеет прежнего значения, для нее теперь было не так уж важно, где жить и чем заниматься; смысл жизни переместился ближе, все самое главное было — и будет отныне — рядом, там, где тихо играла кубиками маленькая смуглая девочка с темными кудряшками; к измазюканной щеке ее прилипло коричневое яблочное семечко, сосредоточенное сопение было сладко слуху и вызывало во всем теле теплый прилив нежности.

И все-таки, сидя с Заирой на руках в кабине дребезжащей полуторки, Анна Арсеньевна испытывала щемящую тревогу; она словно предчувствовала, что едет сюда насовсем, — хотя бы потому, что у нее уже не останется духу выдержать обратный путь — по ухабам, как по морским волнам, только вместо податливой воды — жесткая твердь, которая подбрасывает, перетряхивает мысли; едва сложившиеся в уме фразы распадаются на мелкие обрывки, соединяются невпопад — начало одной с концом другой, — образуя в голове сумбур, так что ни о чем нельзя связно думать и какая-то мутная тяжесть никак не осядет в душе. Они ехали от станции три часа по тракту, мощенному в прошлом веке, — пятьдесят два километра сквозь оплывающий сентябрьский лес, мимо просек-гатей, ведущих к лесозаготовкам, поднимая за собой непроглядную завесу пыли, ныряя едва ли не вниз радиатором в выбоины, заполненные водой. Машина при каждом ухабе начинала было разваливаться, но следующий ухаб вновь прижимал ее части друг к другу, и не было уверенности, что очередной толчок не рассыплет ее окончательно. Прохор Ильич мотался в кузове, придерживая вещи и сам держась за них. Наконец из-за горба дороги показался

первый дом — так встречный корабль появляется из-за горизонта, подтверждая факт шарообразности Земли: сначала труба, из которой, несмотря на жаркий день бабьего лета, шел дым, потом конек крыши, за ним окна в сказочных резных наличниках и решетчатый палисадник. У въезда в город стоял зачем-то красно-белый шлагбаум; усатый инвалид неторопливо поднял его и сразу, едва не царапнув задний борт, опустил — точно боялся, что они выскользнут обратно; несмазанный механизм по-звериному взвизгнул, и звук этот, отсекавший путь назад, заставил Анну Арсеньевну зябко поежиться.

Это был тихий зеленый городок, узко вытянувшийся вдоль озера. На высоком берегу стоял бывший монастырь с двумя покалеченными церквушками, от его кирпичной ограды, за Базарной площадью, начиналась центральная улица с главными городскими учреждениями и магазинами; здесь всегда прогуливались в надежде на подачку самостоятельные непугливые собаки — словно полноправные пешеходы со своими заботами, только иной породы, чем люди. Дальше от центра дома мельчали, вдоль заборов тянулись пружинистые деревянные мостки. Крайние улицы вовсе поросли травой, по ним ходили стайками куры и гуси, меченные анилиновыми красками, по вечерам возвращалось с лесных выпасов стадо, а ночью без надобности постукивал колотушкой невидимый сторож.

Дом, где поселились Меньшутины, не только стоял на краю леса — лес уже перешагнул за изгородь; одичалые вишни и сливы стояли посреди березовой и ольховой поросли, а между стволами возвышались укрытые травой холмики некогда высоких ровных грядок. Хозяева давно здесь не жили; Меньшутин был едва ли не первым, кто за последние годы переезжал в Нечайск, обычно отсюда уезжали, ибо жизнь здесь конечно же не была такой простой, как он расписывал издали. Промышленности тут было — небольшой крахмальный заводик; кормились больше со своих участков да от озера. Городок существовал скромно, обслуживая в качестве районной столицы окрестные деревни, ничего особенного не требуя от окружающего мира и ничего особенного ему не предлагая.

Прохор Ильич первое время с азартом принялся хлопотать по дому, доставал дрова на зиму, обзаводился недостающими и необходимыми здесь вещами вроде лопаты,

пилы и сапог, приводил в порядок обветшалый забор и сарайчик, причем руки его оказались ловки и к топору, и к прочему инструменту, словно он лишь вспоминал давнюю свою сноровку. Но постепенно все больше дел переходило к Анне Арсеньевне; энтузиазм Меньшутина переключался на дворец — так он неизменно величал свой Дом культуры. Даже не Дворец культуры — просто: дворец. Иду во дворец, говорил он и в телефонную трубку отвечал с достоинством: дворец слушает. Дворец располагался в большей из двух монастырских церквей — весьма безвкусном строении начала века, в новорусском стиле, с кирпичным орнаментом на манер вышивки крестиком. Центральный купол церкви был снесен и основательно залатан жестью, зато сохранилась пара несимметричных шатров, один с луковницей, другой без. Как ни странно, в таком виде церковь приобрела своеобразное очарование, во всяком случае, Анна Арсеньевна согласилась увидеть в ее угловатой кривобокости что-то фантастическое, хотя и мало напоминавшее дворец — разве что вечером, когда не видно было залатанной прорежи и снизу, из городского парка над озером, колючий силуэт ее рядом с островерхой колоколенкой казался высоко поднятым на фоне перламутровых закатных облаков.

Первые хлопоты Меньшутина были о ремонте, но когда ему отказали в средствах, он, по обыкновению, стусевался (над головой пока, слава богу, не капало) и весь пыл обратил на организацию самодеятельности. Уже к Новому году его драмкружок представил два чеховских водевиля, и они настолько понравились, что на втором представлении в большом зале впервые не хватило стульев для зрителей; до весны многие посмотрели спектакль трижды и четырежды. Прохор Ильич пережил успех рассеянно, воодушевленный уже дальнейшими планами. Одним из них была постановка «Золушки» — в настоящих костюмах и декорациях; но этот замысел требовал времени, и Меньшутин пока начал подготовку другой своей давнишней идеи. Он вывесил объявление о лекции «Народные праздники, обряды и зрелища» (с подзаголовком в скобках: «Старое и новое»). На лекцию было приглашено районное начальство. Выступал Прохор Ильич безо всякого конспекта, часов перед собой не держал и конечно же с самого начала увлекся вступительной частью: рассказом о древних праздниках плодородия с их безоглядным разгулом — ибо обжорство, разнузданность и сквернословие

считались залогом будущего урожая, об элевсинских мистериях, где каждый раз заново переживалась и разыгрывалась история похищения Керы Плутоном, — словом, о том, что уже раньше приходилось слышать Анне Арсеньевне. Собственная речь все больше захватывала его, ему казалась примечательной любая подробность, и, упомянув, к примеру, о культе Диониса, бога творческих сил природы, он уже не мог удержаться и не нарисовать перед слушателями наглядную картину восторженно-яростных ночных радений при свете факелов, когда под звуки флейт и тимпанов, одетая в звериные шкуры, с рогами на головах свита Диониса доводила себя до исступления, разрывала на части жертвенного козла и потрясала корзинкой с новорожденным фаллом — символом желанного плодородия... Дойдя до этого места, Меньшутин взглянул наконец на часы и обнаружил, что использовал уже большую половину отведенного ему времени (после лекции был обещан бесплатный фильм). Тогда совсем скороговоркой он проскакал по средневековым карнавалам и русской языческой масленице, упомянул гоголевских парубков, исполняющих в майскую ночь насмешливые песни у хаты головы, однако избыток эрудиции и здесь заставил его отвлечься, углубиться бог знает в какие ассоциации, так что главный, заключительный его призыв — возобновить на современном уровне праздничные традиции — прозвучал уже и вовсе под шумок, на излете, как у человека, которому надо завершить длинную фразу на одном оставшемся выдохе...

Подробности ему пришлось объяснять на другой день в кабинете районного секретаря Колесникова. Это был худой, усталый человек в армейском кителе, по горло занятый хлопотами с надвигавшейся посевной; отвлекаться на всякие заскоки ему было сейчас куда как некогда, однако в речах завклубом, которого он в общем-то готов был уважать как культурного человека и которого считал удачным приобретением района, особенно после постановки спектакля, ему почудилась не совсем ясная, но все же сомнительность; на всякий случай Колесников обязан был дать ему понять, что здесь тоже люди грамотные. Он говорил с медлительной четкостью, отмечая абзацы своего рассуждения постукиванием спичечного коробка по столу, и от этой четкости собственная мысль казалась ему все более несомненной, а подозрения — все более оправданными. Прежде всего, сказал он, что это за неприличные

слова на лекции, где присутствовали, между прочим, и подростки-школьники? Тот факт, что назывались эти слова на древнегреческом языке, мало что меняет, — у нас, когда надо, все умеют перевести. Более чем неуместным счел он также сочувственное упоминание пьянства и сквернословия, которого в Нечайском районе, слава богу, хватает и без лекций; о возрождении каких традиций, спросил он, идет тут речь? Да и в разговорах о старинном обжорстве прозвучала, мягко скажем, безответственность. Наконец, не совсем понятной показалась ему идея насчет песенок под окнами; возможно, где-то и бытовала такая форма самокритики, но в здешних местах на этот счет опять же свои традиции... Словом, впредь Меньшутину было предложено тексты своих выступлений предварительно согласовывать.

Прохор Ильич во время этого собеседования сидел взъерошенный, беспокойный, уголки нервного рта опущены вниз, он то и дело согласно кивал головой и, не замечая, вертел в пальцах папиросу «Беломор», которой угостил его Колесников и которую он так и не закурил. Папироса сама собой выделявала чудеса: вдруг выныривала из пустой ладони, потом исчезала, растворялась в воздухе и вновь медленно приподнималась, как из-за ширмы, над указательным пальцем. Собеседник его заметил наконец эти произвольные фокусы и, заинтересованный, на секунду приостановил свою речь. Напор голоса и мысли был утерян, секретарь вроде бы вдруг забыл, чем собирался кончить.

— А насчет какого-нибудь мероприятия, — сказал он почти наугад, — это можно. Пожалуйста. Если, конечно, как следует организовать. Чтоб не было никаких этих... — Он неизвестно зачем подмигнул и покрутил поднятым вверх пальцем, точно ввинчивал в воздух невидимый шуруп.

Меньшутин ходил эти дни особенно быстро, почти подпрыгивая на здоровой ноге, — готовил городской праздник. Осуществился он Первого мая, после обычного митинга, в парке, скромно украшенном бумажными фонариками и флажками. Неразборчивый от громкости репродуктор играл бодрую музыку. На помосте при танцевальной площадке, перед щитом с диаграммами районных достижений, были вручены почетные грамоты передовикам крах-

мального завода, потом здесь же начались танцы под баян и радиолу с завершающим конкурсом на лучшее исполнение русской пляски. Подготовленные Меньшутиным затейники, стесняясь, устраивали соревнования по бегу в мешках и по накидыванию обручей на палки. Некоторая суматошность и сбивчивость этого гуляния объяснялась не только усердием специально открытого буфета, но во многом необдуманном энтузиазмом самого Меньшутина. Он, например, разыскал за чем-то двух любителей канареек и убедил их устроить в парке состязание-концерт; естественно, птицы отказались петь в непривычном месте, дав зрителям повод для неуместного веселья. По сценарию предусматривался особенно эффектный финал праздника: водная феерия с иллюминацией и фейерверком на плоту, с появлением Нептуна и групповым нырянием в озеро; здесь, однако, Прохор Ильич не учел климата — с озера еще не сошел лед. Меньшутин переживал ужасно, обращался к начальству с просьбой хоть как-то взорвать или растопить небольшой участок, на что ему резонно посоветовали наконец не терять чувства реальности. Лед лишил эффекта и другую его задумку — состязание рыбаков; оно все же состоялось, но в мелкой протоке, где приходилось довольствоваться пескарями, которых было как-то неловко сравнивать. Правда, рыбная ловля подарила сюрприз, достойный стать украшением праздника: на хвосте одного из пескарей было обнаружено латунное кольцо с цифрой 2954 и с надписью иностранными буквами САРЕЕВОН, которую случившийся тут же учитель английского языка с изумлением прочел как Кэйп Эбон, то есть Черный или Эбеновый Мыс. Где находился этот мыс или полуостров, никто сразу сказать не мог — вероятно, в Африке, но в любом случае невозможно было объяснить, как кольцо попало в Нечайское озеро, связанное, правда, через систему проток, речек и других озер с бассейном Волги, — но ведь и сама Волга впадала, как известно, не более чем в Каспийское море, то есть опять же озеро, ни с одним океаном не связанное. Общее возбуждение несколько охладил бухгалтер райфо Бидюк — советом показать английскую надпись в кой-какие областные инстанции. Словом, кольцо — на всякий случай вместе с пескарем — передали случившемуся в Нечайске корреспонденту областной газеты, благодаря присутствию которого неуверенное и, так сказать, пробное мероприятие Меньшутина произвело эффект неожиданный. Правда, с надписью на латунном кольце

вышла неувязка; неискушенный в английском языке журналист ненароком прочел ее по-русски: САРЕЕВО — так называлась деревня на дальнем противоположном берегу озера; буква же, которую учитель принял за английское N, вполне могла означать «номер» перед последующей цифрой. Что означала цифра и какой энтузиаст в Сарееве надевал на пескарные хвосты самодельные кольца, надо было еще разобратся; корреспондент пока не стал ломать над этим голову. Честолюбивый и хваткий юноша, недавний выпускник журналистского факультета, сообразил, однако, что может сделать из городского гуляния не просто репортаж с фотографиями для своей газеты, но при умелой подаче — даже информацию для прессы московской. Информация была вскоре напечатана под заголовком «Возрождение традиций» и вызвала естественное удовольствие как местного, так и областного начальства. Меншутин получил долгожданные средства на ремонт и вдобавок на новую штатную единицу, а в один прекрасный день к нему заявила делегация из соседнего района перенимать опыт... Жизнь его, как это уже бывало, неслась в совершенно неожиданном завихрении, а он лишь улыбался рассеянно — словно не замечая, что выходит карикатура, путаница, какой-то шум в ушах, не замечая или забыв, что мыслил себе совсем иное; единственный же, кто мог ему об этом напомнить, Анна Арсеньевна, предоставила на этот раз мужа своей заботе.

3

Силы и время ее были теперь отданы дочери и дому. Музыкальная школа оказалась пока фантазией, вернее, проектом Прохора Ильича: для нее не существовало ни помещения, ни средств; единственный казенный инструмент, дворцовое пианино, был порчен молью, и в педальной стойке его обитала пятнистая кошка Марта, ежегодно обновлявшая здесь выводок котят. К счастью, собственный инструмент Меншутиных выдержал дорогу отменно, и Анна Арсеньевна смогла объявить частные уроки. К ней пришло трое учеников: две девочки и один мальчик. Оставшееся от занятий время забирали домашние хлопоты. Дом был непривычно велик; мебель, которая громоздко заполняла когда-то их вибрирующую комнатку, на новом месте уменьшилась в размерах, затерялась по далеким углам — как в перевернутом бинокле; остальное простран-

ство составляли бескрайние полы, и надо было их мыть, да еще топить печь, носить воду из колонки, стирать уже на троих, готовить обеды, без которых они с мужем когда-то обходились; с непривычки это было трудно, а главное, здоровье у Анны Арсеньевны было не прежнее. Но все бы ничего; единственное, о чем она иной раз горевала, — это о своих пальцах, все более красневших, отекавших и трескавшихся. Поэтому она обрадовалась помощи, которую неожиданно предложила соседка тетя Паша.

Это была массивная круглолицая женщина непонятного возраста; движения ее были плавны и легки, как у молодой, зато рот — совсем старушечий, беззубый, в разговоре тетя Паша прикрывала его пальцами, отчего выражение ее лица с маслянистыми узкими глазками имело всегда оттенок несколько плутоватый. Появилась она в доме неожиданно. Анна Арсеньевна, проводив после урока учеников и уложив спать дочь, сидела за пианино и играла самый трудный для себя и самый любимый одиннадцатый этюд Шопена. За годы работы ей редко выпадало играть для себя, теперь она любила перебирать запас потрепанных нот времен своей учебы и играла как умела, не стесняясь сбивов и погрешностей в технике. Пчелиное жужжание у самого уха отвлекло ее; она не сразу догадалась удивиться, откуда возникла пчела в такое позднее время осени; оглянулась и вздрогнула: в дверном проеме, почти закрывая его, стояла, прислонясь к косяку, женщина в желто-коричневом — цвета ржаного медового пряника — платье с черным передником. Анна Арсеньевна тут же узнала соседку и облегченно перевела вздох. Смутила ее лишь бесшумность этого появления да собственная рассеянность: ей казалось, что после учеников она заперла дверь на крючок. Тетя Паша, однако, повела себя на удивление непринужденно.

— Играй, играй, милая, — разрешила она хрипловатым голосом; правое веко у нее при этом дернулось, будто она хитро подмигивала. — Начала, так играй, чего уж...

Хоть разговаривали они впервые в жизни, можно было подумать, что тетя Паша вернулась сюда после недолгого отсутствия завершить прерванную на полуслове беседу — об одном из своих ульев, где нынче осенью остались в живых трутни, из чего следовало, что матка состарилась и ее пора было заменить новой... Едва отслонившись от дверного косяка, она двинулась по комнате — удивительно плавно и ловко для своей монументальной фигуры,

не прерывая разговора и наводя по пути порядок: там подправит край одеяла, здесь смахнет передником пыль, с бесцеремонным любопытством приоткроет дверцу шкафа — хлопотливая, легкая, бесшумная. Казалось, она неспособна стоять на месте: стоит ей замедлить движение — и она не удержится на ногах, наклонится, как остановившийся велосипедист. Анна Арсеньевна, честно сказать, и не поняла, как случилось, что они вместе принялись убирать вверх ножками стулья, приготавливая комнату для мытья полов. Домашняя женская работа была для тети Паши естественным незаметным состоянием. Жила она одиноко, собственный дом ее был пустой и не поглощал всей ее хлопотливой энергии. Она получала пенсию за погибшего мужа, носила на базар мед, малиновое варенье, сушеные и соленые грибы, причем продавала все бестолково, по дешевке, и уверяла, что ходит туда больше ради удовольствия поговорить с людьми. Анне Арсеньевне она тоже любила принести то медку, то грибочков, деньги всякий раз принимала с отговорками или вовсе отказывалась, заставляя хозяйку краснеть и придумывать ответный подарок. От работы Анна Арсеньевна вдруг оказалась почти отстранена, тетя Паша просила ее лучше сесть за пианино и потом, остановившись со щеткой в руках или разогнувшись над стиральным корытом, с приложенными к губам мокрыми пальцами, покачивала головой — любовалась: «Ах, красавица!» Прохор Ильич, посмеиваясь, уверял, что старуха просто в нее влюбилась; в ее манере обращаться с Анной Арсеньевной и впрямь было что-то от власти влюбленного, который не терпит возражений в своем желании служить.

— Ты ее приворожила, — говорил он со смешком. — Это, если хочешь знать, здешняя ведьма, колдунья на пенсии, и власть над ней дает строчка из одиннадцатого этюда Шопена. Seriously, вспомни, как она перед тобой возникла. Играй, говорит, играй, чего уж теперь.

Шутка ему самому понравилась, он не раз ее потом вспоминал. Анна Арсеньевна возражала, что если кто и притягивает к себе странных причудливых людей, так это он, они его чувствуют на расстоянии. Ее, признаться, что-то смущало в тете Паше — может, это вечное, будто с каким-то хитрым намеком, подмигивание; поговаривали, что у нее дурной глаз, что она похоронила трех мужей, причем один из них умер от пчелиного укуса в язык; за ней ходила неясная слава бывшей свахи и даже просто сводни.

В другие дома ее не очень-то пускали. Анна Арсеньевна испытывала необъяснимое беспокойство, когда эта громоздкая, величественно-суетливая женщина приближалась к Заире (которую называла, кстати, всегда по-своему: Зоюшка), чтобы погладить ее по голове толстыми коричневыми пальцами. «А на отца-то как похожа!» — приговаривала она; в улыбке у нее открывались два последних целых клыка, торчащих снизу, а глаза превращались в узкие щелочки... Но своих неблагоприятных сомнений Анна Арсеньевна сама стыдилась; постепенно она привыкла к старухе, ее пчелиная простота и легкомысленная невозмутимость действовали заразительно — возможно, чем-то совпав с собственным настроением. Ей нравился исходивший от тети Паши сложный запах меда, сухих грибов, разогретого малинника и крапивы; запах этот привлекал и беспокоил пчел, они постоянно жужжали вокруг тети Пашиной головы, точно хотели сообщить ей что-то на ухо, и временами она в задумчивости замирала, приложив к губам пальцы, покачивала головой, будто в самом деле услышала нечто забавное.

Прежняя жизнь, сухой легкий жар освещенной сцены, звук грохочущего трамвая, электрическая вечерняя зелень вспоминались год от году все слабее, и, к удивлению Анны Арсеньевны, воспоминания эти ничуть ее не волновали. Она не печалилась даже об оставленной работе аккомпаниатора, которую, казалось, любила; ей достаточно было возможности играть для себя, и она поняла, что всегда играла прежде всего ради удовольствия играть, без тоски по какому-то необычайному совершенству. В кино она теперь не ходила, чтоб не оставлять дочку одну, — и об этом тоже не жалела; зато удавалось больше прежнего читать. Вечерами она дожидалась мужа; за окном шебуршал ветер, от печки пахло теплой глиной и березовым дымом, за стеной беспокойно ворочалась девочка; она часто болела, и мысль о ее хрупкости, о ее беспомощной зависимости вызывала такой прилив жалости и беспокойства, такую нежность, какую Анна Арсеньевна лишь подозревала в себе, когда ходила беременная и гладила по головкам чужих детей.

Хотя со временем число учеников у нее удвоилось, денег не хватало; Анна Арсеньевна уже раз-другой выносила на базар тонкие туфли-лодочки из белой замши и

белое концертное платье со сборчатыми манжетами; но туфли ее могли прийтись по ноге лишь девочке-подростку, длинное платье без плечиков тоже вряд ли могло понадобиться кому-нибудь в Нечайске — и Анна Арсеньевна с облегчением — и к удовольствию мужа — приносила свои вещи непроданными домой. Они жили беднее многих в городе, только не замечали этого; кроме денежного заработка, у них не было никакого подспорья. Коровы они, разумеется, не завели, самовара не купили, участок их все основательней зарастал лесом; осенью во дворе пахло грибами, к забору неторопливо подходили горбатые лоси, задумчиво жевали кору молодых осинок, оставляя на стволах влагу своей слюны. Тишина здесь промывала уши и все существо, как легкая холодная вода, и прозрачной острой льдинкой всплывал в ней по утрам чистый крик петуха.

Получив новую штатную единицу, Прохор Ильич предложил жене возглавить во дворце музыкальный или хоровой кружок. Та подумала и отказалась: имело больше смысла вести занятия дома. Меньшутин, честно говоря, на это и рассчитывал, у него была уже на уме другая идея, возникшая после одной встречи на местном базаре. Он любил побродить здесь в воскресенье — просто так; делать покупки ему не доверялось: он чересчур увлекался азартным русским базарным обрядом, распаляя спором о цене и товаре даже самых миролюбивых мужиков, а в результате сгоряча мог купить вещь вовсе и ненужную. Вот здесь-то, в стороне от возов с сеном и мешков с картофелем, от поросячьего визга и гусиного гогота, в углу, где располагались приезжие кустари с игрушками и расписными деревянными ложками, старики с корзинами из очищенной и неочищенной лозы, бондари с ушатами, бочками и бочоночками (которые Меньшутин, проходя, с удовольствием поглаживал по свежим сливочным бокам), он увидел однажды человека, продававшего искусственные цветы. Никогда прежде ему не приходилось видеть цветов такой выделки. Розы, тюльпаны, гвоздики, гладиолусы разве что не пахли, в воцеленных лепестках подрагивали бисеринки росы, стебли из мягкой проволоки, облитой зеленым воском, казались живыми, особенными для каждого сорта — не взяв в руки, не отличишь от настоящих, а у роз были даже шипы. Эти шипы особенно покори-

ли Меньшутина, он вдруг проникся к приезжему неодолимой симпатией. Это был неразговорчивый человек в армейской фуражке с малиновым околышем и чистом синем ватнике. У него было сухощавое лицо с короткими седыми усиками и длинные пальцы виолончелиста. Цветы он продавал недорого, но не унижался до споров о цене, что многим казалось обидно; сидел на деревянном чемодане, презрительно глядя в сторону; казалось, его сердит сама необходимость продавать свои произведения людям, неспособным отличить их от поделок из гофрированной бумаги. Прохор Ильич вывернул карманы, отдал, не глядя, все, что в них было, и, получив взамен три светлые розы, смягчил неразговорчивость мастера искренностью своего восхищения. Не обращая внимания на подходивших покупателей, они долго обсуждали возможность придания цветам еще и натурального запаха, а к следующему базару старик привез специально Меньшутину лучшие свои изделия — не для продажи. Это были алые, нежно обугленные в глубине маки на волосатых шершавых стеблях, с лепестками, которые облетали на третий день, оставляя зеленую коробочку с сухо шуршащими семенами внутри и тончайшей выработки одуванчики. Бесполезность этого изощренного искусства, вступившего в состязание с природой, тронула Прохора Ильича. Существование таких достойных изделий, как ушаты и бочонки, было оправдано внешней потребностью; здесь же человек возвышался над первоначально-полезным в причудливой бескорыстной игре — может, в этом и была своя высокая польза? — так убеждал он Анну Арсеньевну, которая искусственных цветов не любила и к самому слову «искусственный» относилась с неприязнью. «Не пригласишь ли ты его в свой дворец руководить кружком?» — неосторожно пошутила она, не подозревая, насколько всерьез он примет ее совет. Мастер с достоинством выслушал доводы Меньшутина о том, что продажа цветов на базаре все равно идет плохо, при дворце же у него будет небольшой, но твердый заработок, а главное — ученики, которым можно будет передать искусство. Ответ он обещал дать в следующий приезд: через неделю Меньшутин услышал отказ. Мастер объяснил, что при своем нелюдимом нраве он вряд ли сможет иметь дело с учениками, да и переселяться из насиженного жилья не стоит, главное же — он хочет свободно заниматься своим делом и сторонится всякой службы. Прохор Ильич надеялся его еще уговорить, но старик вдруг

перестал появляться на базарах. Меньшутин прождал месяц, потом отдал ставку художнику-оформителю.

С него теперь ведь тоже требовали все новых мероприятий. Задуманную когда-то постановку «Золушки» приходилось откладывать с году на год: городское начальство просило Меньшутина давать что-нибудь более современное. Прохор Ильич ставил одну за другой пьесы с заглавиями «Большая судьба», «В маленьком городе» и что-то еще, он быстро забывал названия. Первоначальная суетливая порывистость его прошла, в движениях и взгляде появилась какая-то замедленность, будто он думал вовсе не о том, что говорил и делал в эту минуту. Нельзя сказать, чтоб деятельность его многое изменила; по-прежнему главной работой дворца были танцы и кино, изредка приезжали лекторы по международному положению или на моральные темы. Но при разбросанной натуре Меньшутина работа отнимала у него весь день. Дома он бывал мало, с дочкой занимался от случая к случаю и как будто удивился, обнаружив однажды, что она уже читает. «Смотри, она уже читает», — сказал он. Анна Арсеньевна удивилась еще больше: «Давно. Я тебе об этом говорила». — «Да, верно», — вспомнил Прохор Ильич и еще раз с интересом взглянул на худенькую девочку, головастую и большеротую, — точно лишь сейчас осознал наконец, как она выросла.

4

Она не просто выросла, но необычайно изменилась с годами: волосы высветлились, как бы выгорели на солнце, от младенческой курчавости не осталось и следа, глаза оказались не карие, а изжелта-зеленые, с большими зрачками и темным тонким обводом вокруг радужины, само лицо выглядело не столько смуглым, сколько загорелым, в нем не было теперь ничего восточного, что связывалось для Прохора Ильича с именем Заира. В один прекрасный день он обнаружил, что и само имя это постепенно вытеснилось другим, с легкой руки тети Паши все стали звать ее Зоя, Зоюшка; девочка сама признавала только это имя и поправляла отца, когда он оговаривался по-прежнему.

— Зоя? — осторожно примерил он новое имя на языке и внимательно взглянул на нее. — Зоюшка... Ну-ну...

Всякий раз, глядя на нее, он заново удивлялся, до чего она оказалась на него похожа, — насколько вообще

может походить детское личико с нежной кожей и еще сглаженными чертами на лицо некрасивого сорокалетнего мужчины с искривленным носом и все выше лысеющим теменем. Тетя Паша со стороны заметила это куда раньше. Впрочем, дочка — чего ж тут было удивляться.

Присутствуя на музыкальных занятиях матери, Зоя обнаружила редкостную способность учиться «вприглядку», следя за чужой игрой: пальцы ее с подстриженными ноготками шевелились над коленками, как над невидимыми клавишами, повторяя движения игравшего, даже предупреждая их, и, когда он допускал сбив, она не удивлялась — это был ее собственный сбив. Нот Зоя не учила; круглые, черные, похожие на букашек значки вызывали у нее необъяснимую неприязнь, которая обозначалась словом «грязь» — общим для самых разных вещей: зола из печки, чайники в стакане, клоп на стене — все это называлось «грязь» и было неприятно до подкатывающей тошноты. С возрастом словечко это ушло в разряд смешных младенческих нелепостей, но странные пристрастия и антипатии сохранялись стойко, они относились не только к вещам, но и к их названиям. Слова для нее могли иметь приятный или неприятный запах, быть солоноватыми или приторно-сладкими, они имели свой особенный цвет, форму, характер; одни были как клубы белого тумана или брызги молока, другие остро царапали или заставляли передергиваться, как прикосновение к скользкой холодной лягушке. Имя Заира вызывало у нее сопротивление из-за черного, кругленького, подпрыгивающего «р», с которым у нее не было ничего общего; но, конечно, объяснить этого она не умела, тем более что говорила плохо. Воспитанная при матери, в уединенных играх, она привыкла больше бормотать сама с собой и нередко смущалась звука собственного голоса; к тому же после частых простуд у нее остались увеличенными миндалины, выговор был слегка гундосый, невнятный — даже Анна Арсеньевна не всегда сразу понимала ее. Но стоило переспросить — Зоя тотчас замолкала, и от нее уже нельзя было добиться ни слова. Со стороны она производила впечатление вялой и ко многому равнодушной, но могла поразить вдруг необычайным упрямством; глаза ее под выпуклыми припухлыми веками казались сонливыми, и лишь внезапное словечко или вопрос выдавали своеобразную скрытую работу мысли.

Выучившись читать в четыре года, Зоя не увлекалась книгами и предпочитала рассказы вслух; она вообще не утруждала себя внешним напряжением. Однажды она попросила отца рассказать ей сказку. «Про кого же тебе рассказать?» — механически переспросил Прохор Ильич. «Про себя». Он в ту минуту не сумел придумать ничего лучшего, как приписать себе приключение с джинном, выпущенным из бутылки, и лишь потом, из сетований жены, понял, как это было неосторожно. Теперь девочка желала, чтобы папа участвовал во всех сказках; вернее, это была одна бесконечная сказка, где Прохор Ильич скакал на сером волке, доставал живую и мертвую воду, сражался с драконом, ловил в реке говорящую щуку и расстилал скатерть-самобранку. Особого разнообразия ей не требовалось, она слушала одно и то же снова и снова — с той поразительной способностью переживать каждый раз на свежо все встречи и опасности, какая свойственна одним детям, — как будто в очередном пересказе все может обернуться по-иному, чем накануне. Анна Арсеньевна радовалась, замечая у девочки восхищенную нежность к отцу, но одновременно побаивалась, что в ее сознании складывается образ несколько фантастический. Она вообще с тревогой думала иногда, что неумело воспитывает дочь, слишком потакает ее причудам, все ей позволяет: рыться в земле, возиться в лужах, так что руки у Зои всегда были в цыпках, а мордашка измазана; получалось, будто та сама направляет свое воспитание, а она идет у нее на поводу. Тогда она пробовала отучить Зою от некоторых фантазий — например, доказать ей, что незачем каждый раз вылавливать из чая все до единой чайинки, ничего не будет страшного, если их и выпить. Через полчаса девочку вырвало, и она два дня пролежала в постели с признаками острого отравления. Беспокойство Анны Арсеньевны возрастало с приближением школы. Чтобы подготовить дочку к общению со сверстниками, она стала почаще выводить ее за калитку, к соседским детям. Против ожиданий, Зоя легко, хоть и без интереса, подключилась к их играм. В ней не было деревенской диковатости и пугливости, наоборот, она даже слишком запросто подступала к любому, точно не подозревала о возможности недоброй или отчужденной встречи, о каких-то условностях; к взрослым она обращалась бесцеремонно, как к равным себе, и Анна Арсеньевна поняла главный свой воспитательный просчет: девочка совсем не ориентировалась в реальных отношениях. Она

была не по возрасту простодушна и доверчива. Как-то один из мальчиков отобрал у нее майского жука, заявив, что все жуки в воздухе принадлежат ему, он лишь на время их выпустил, — и Зоя совершенно в это поверила. В другой раз она прибежала домой, возбужденная удивительным открытием: кто-то показал ей, что кроме полной круглой луны, которую все видели сейчас низко над деревьями, существовала еще одна, в овраге. Разубедить ее в таких случаях бывало непросто, окончательным авторитетом она признавала разве что отца. Но сам Прохор Ильич явно недооценивал весомости своих слов и действий, он подходил к своей воспитательной роли с недопустимым легкомыслием. Однажды Зоя зачем-то выпросила у матери кусок сахара и убежала с ним в сад; лишь к вечеру она согласилась объяснить родителям, что, если посадить сахар на грядке, из него, оказывается, вырастет сахарная свекла. Анна Арсеньевна только улыбнулась и повела ее спать. Но утром Зоя ворвалась к ней с ликующим криком и потащила за руку на участок; среди вскопанной грядки там торчал невероятный кустик, увешанный кубиками зрелого рафинада. Прохор Ильич был уже во дворце; Анна Арсеньевна с трудом дождалась его прихода, и поздно вечером, когда Зоя уже спала, между ними состоялся очень серьезный разговор.

— Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь, — говорила Анна Арсеньевна, возбужденно шагая по просторной комнате. — Я и так допустила ошибку, воспитывала девочку возле себя, рассказывала почти исключительно сказки. Она и так напичкана бесконечными фантазиями, и они значат для нее гораздо больше, чем мы с тобой думаем. Это надо как-то выправлять, а не подливать масла в огонь.

— Что ж тут плохого? — возражал Прохор Ильич. Он сидел за столом и заправлял огромную, размером с крупную сосиску, авторучку — в нее входил целый пузырек чернил; он вообще любил необычные вещи; у него были карманные часы размером и толщиной с серебряный рубль, зажигалка в виде маленького пистолета, вполне способного пугать прохожих, музыкальная кофемолка, для которой в Нечайске не было зерен, но которая при вращении ручки очень чисто играла начальные такты Героической симфонии. — Что ж тут плохого? — повторил он, рас-

сеянно завинчивая крышку. — Она счастливая, если может так искренне жить в мире своего воображения.

— Жить в мире воображения! — Анна Арсеньевна остановилась среди комнаты, сложив руки на груди; румянец возбуждения на ее щеках пошел пятнами. — Все хорошо в меру. Она совершенно не ориентируется в жизни. Ее любой может обмануть, разыграть, забить голову вздором. Ты видишься с ней раз в неделю, и для тебя эти разговоры всего лишь забавны.

— Она же еще малышка. Пройдет. Житейский опыт — дело возраста.

— По тебе не скажешь, что возраст все меняет. Удивительно, как она смогла оказаться столь похожей на тебя.

— Моя дочь!

— Тем более есть о чем тревожиться. Уж ты-то знаешь, что простодушие может быть опасным. Тебе оно стоило ноги.

— Простодушие! — хмыкнул Прохор Ильич. — Ты все-таки мало ценишь меня, Аннушка.

Жена вскинула на него быстрый взгляд.

— Что ты хочешь сказать?

— Я понимаю, ты мечтала видеть во мне актера и ошиблась в своих ожиданиях. Признаю и склоняю голову. Более того — расписываюсь. Но ты недооцениваешь во мне — артиста, — Прохор Ильич значительно поднял перед собой авторучку-сосиску; тень от высокой лампы нарисовала над его шишковатым носом темные усики, придав всему несимметричному лицу какое-то клоунское выражение. — Вот это прискорбно.

— О господи, я серьезно, Проша.

— Я, может быть, тоже... Впрочем, и тут я не настаиваю. Серьезность для меня — штука сомнительная. Все принимать всерьез — повеситься можно.

Анна Арсеньевна еще раз прошлась по комнате. Почему-то ей самой захотелось теперь перевести разговор к шутке, но она не могла найти удачного слова.

— А... — неопределенно усмехнулась она. — Эта твоя нынешняя жизнь, беготня, хлопоты, которые занимают все твое время и ни во что окончательно не выливаются, — это все тоже спектакль?

— Ну, это пока репетиции, — прищурился он. — Этюды по системе Станиславского. Присматриваюсь, подбираю исполнителей, воспитываю статистов. Пусть привыкают к моему стилю. Нам с ними не один год работать... кто

знает. Великие спектакли, Аннушка, требуют времени. Может, целой жизни. Я сам уточняю свою мысль, нащупываю: чего же я, собственно, хочу? Вон дочкино имя — и то само собой уточнилось. Если ты намекаешь на мою «Золушку», которая все откладывается, то ты не угадала. Отнюдь. Я работаю над ней, совершенствую. Она вырастает в моем мозгу во что-то все более значительное. Представь: разыграть действие на площади перед дворцом. Чтоб в танцах на балу участвовал весь город, чтоб в двенадцать на башне пробили часы и все, понимаешь, все заволновались: где же Золушка?

— Где ты возьмешь часы с боем?

— Ты тоже призываешь меня не терять чувства реальности? Найдем, если понадобится. Надо будет немного подновить дворец, подкрасить башенки, поставить золотых петушков. Я тут нашел художника, он мне уже сделал эскизы. Гениально! Я так ему и сказал: гениально! Пусть пока полежат. Я еще должен над этим думать... Э, знала бы ты, что творится у меня вон тут! — Меньшутин постукал себя пальцем по лбу. — А мелочи — дело техники. Ты слышала когда-нибудь анекдот о художнике, которому в только что нарисованном пейзаже показалось лишним одно деревце? Он пошел, срубил дерево и перерисовал пейзаж. Привел, так сказать, в соответствие. Это к разговору о чувстве реальности. Между прочим, подлинный факт.

— Мало ли сумасшедших!

— Э, что мы знаем о сумасшествии? — скривился Меньшутин. — Где оно начинается и какова его цена...

Анна Арсеньевна не ответила, лицо ее было задумчивым и как бы печальным. Да Прохор и не нуждался в ответе, он смотрел мимо нее, губы его были приоткрыты в неровной замершей улыбке.

— Неужели ты не можешь просто жить? — вдруг тихо произнесла она. — Со мной, с Зоюшкой?

— А! — Он взвился даже с каким-то воодушевлением, точно давно ожидал это услышать. — Просто! Аннушка, Аннушка, умная моя Аннушка, что значит: просто жить? Если каждый наш день зависит от того, как мы сами повернем его и увидим? Как я сегодня «просто жил»? Проснулся, поел гречневой каши с молоком, надел сапоги и потопал по мосткам, а где нет мостков — по грязи, в обшарпанную церковь, там проверял накладные на инструменты для духового оркестра, выяснял, куда запропалились медные тарелки, потом ждал, пока

соберется на репетицию драмкружок, так они и не собрались, оказалось, сегодня футбольная встреча с соседним районом. И все. Пошел домой есть суп с перловкой. Можно и так, можно... кому как удастся. Но неужели я зря прочел сотни умных книг? Неужели я не вправе увидеть каждый свой день, каждый момент своей жизни не сам по себе, а в переплетении со всем, что было продумано, сказано, открыто людьми за много веков? Когда, засомневавшись, я открываю в себе Гамлета, а за тарелкой гречневой каши осознаю нечто, роднящее меня с Пантагрюэлем? Давний вздор, будто культура обедняет чувства! Человек и отличается от скота вторичностью своей природы. Когда я могу сыграть свою жизнь... могу строить ее, как ласточка строит свое гнездо — скрепляя частицы обычного сора живой слюной мысли, воображения. И если Зоюшке это дано в такой мере — почему не назвать ее счастливой?

— Ты такой умный, Проша,— серьезно произнесла Анна Арсеньевна.— Но я не о том. Просто жить — это радоваться простым вещам. По-своему, как умеешь. Вчера утром я попала под град, промокла, но было так хорошо. Вычесывала из волос ледяные зернышки — и мне было хорошо. Вот и все. Цыплята светились в траве, как солнечные зайчики. Зоюшка играла с котенком. С веток падали в лужу капли, он все пытался их поймать — так забавно...

— Не знаю, не знаю,— тяжело морщил лоб Меншутин.— Все это я тоже читал — где-нибудь у Паустовского.

— Но вот тетя Паша не читала Паустовского...

— А! — вновь с готовностью и сарказмом подхватил он.— Вот еще появился жизненный образец, я так и знал!

— При чем тут образец? Мне просто нравится иногда... как у нее в волосах запутываются пчелы и она высвобождает их своими толстыми пальцами.

— Откуда ты знаешь, что эти насекомые нашептывают ей на ухо? Вдруг выяснится, что она живет в мире, куда более фантастическом, чем все мы, и мерит нас по пчелам — вряд ли в нашу пользу?

— Ты все шутишь.

— Не так уж шучу. Она и мухам покровительствует. Я видел, как она смотрела на парочку, которая сцепилась в воздухе и упала к ней на ладонь.

— Мне это тоже нравится.

— Не знаю, не знаю... — Прохор давно уже не смотрел на нее. — Было и это. Все на свете уже было. И наш разговор где-то был. Можно просто не сознавать этого и видеть в невинности преимущество. Кому как дано. Жить этаким отросточком, верхушечным отросточком на необозримом стволе, и не замечать, что питаешься общими с ним соками, только разыгрываешь некую вариацию. Но мне, может, смиренности не хватает. Мне, может, скучно, тошно, неумоготу ждать, пока моя история выявится сама собой, где-то к концу жизни, и я о ней лишь задним числом догадаюсь. Я, Прохор, я могу кое о чем сам позаботиться. Сравнение с отросточком не для всех верно, кое-кому дано одновременно быть садовником: там привить веточку, здесь подрезать. «Просто жизнь» груба, неотесана. Придать ей форму, смысл ужасно трудно, порой до ужаса. Но если через это пробьешься, тогда все оправдано. Тогда возникает нечто, достойное называться словом «искусство». Для этого себя не пожалеешь.

— А других пожалеешь? — тихо спросила Анна Арсеньевна.

Он резко повернулся к ней.

— Почему ты так сказала? — Голос его сорвался, стал сиплым, и ему пришлось сглотнуть слюну.

— Так... — Ее испугал внезапно страдальческий изгиб его большого рта. — Сама не знаю. Сорвалось.

— А почему сорвалось? — настаивал он. — Нет, ты уж ответь.

— Зачем ты так всерьез... обиделся? Это я вдруг, не подумав. Ты же знаешь, как мы с тобой умеем... для красного словца.

— Нет, нет, в том-то и дело, что не подумав, — требовал он с жаром. — Обмолвка — это подсознательно. Тут не обида, не бойся. Но все-таки скажи.

— Не знаю, Проша. Я не могу объяснить. Ты так говоришь, что я не всегда понимаю. Но у тебя было такое отсутствующее выражение глаз... я испугалась.

— А!

— Нет, господи... я опять не то сказала. Это не так. Я за тебя иногда боюсь.

— Почему?

— Не знаю, смогу ли объяснить, даже сама себе. Я иногда боюсь, что эти мудреные, отвлеченные слова о ножницах, искусстве и спектаклях могут вдруг обернуться чем-то очень реальным — и страшноватым. То, что ты на-

зываете игрой, этюдами, репетицией, для людей жизнь. Да и для тебя тоже.

— Может быть, может быть, — проговорил он без улыбки и взглянул на нее из-под приподнятых бровей; высокий лоб его сошелся крупными изломанными складками. — А ты умница. Умница.

— Постой, я попробую сказать еще. В несерьезности, о которой ты говоришь, есть какое-то опасное высокомерие... неуважение к жизни. Странно говорить так о тебе, но иногда я это чувствую.

— Ты умница, — повторил он.

— Какая уж там умница. — Анна Арсеньевна устало облокотилась о высокую спинку кровати.

— Спасибо, что говоришь со мной так... Я знаю, что произношу слова, которые трудно воспринимать без усмешки. В каком-то смысле меня это и устраивает. Тут ведь не только с другими — с самим собой остережешься. А то вдруг откроешь, что в самом деле ты просто-напросто сумасшедший. И нельзя тебе было иметь детей... опасно. Я сам боюсь иных фантазий, гоню их от себя, но залетит шальная — как от нее избавишься? Вроде бы и не виноват — мысль ведь, не больше. Но я-то знаю: мыслью можно камни сдвигать.

Анна Арсеньевна не отвечала; он продолжал, уставившись в стену невидящими глазами, приоскалив рот в непривычной усмешке:

— Ты умница, умница... Послушай, я скажу тебе то, в чем боюсь признаться сам себе. Я очень люблю вас, тебя и Зоюшку. Если есть у меня немного счастья, так это вы. Не думай, что я не способен этим проникнуться... когда вижу ее в мотыльковом платице среди цветов... ну и так далее. Но бывают мгновения — именно мгновения — я вдруг чувствую: мне никто и ничто не нужно — только довести до предела идею. Не потому что это принесет мне счастье. Какое! Тут речь вообще не о счастье. Тут черт знает что. Эх, Аннушка, — продолжал он негромко и с горечью, — знаешь ли ты, что в искусстве — да и в любом развитии мысли — может быть много бесчеловечного? В пределе своем это жестокая сфера, тут не станешь рассуждать, что позволено, а что нет, если хочешь дойти до конца, до совершенства. А то лучше и не замахиваться... И тянет, тянет... Начинаешь понимать, почему мы боимся стоять у края обрыва или перевешиваться через высокий подоконник. Не потому, что можем случайно упасть. А потому, что в

себе самих осознаем этот соблазн: тянет. Ты, Аннушка, сама не знаешь, как сдерживаешь меня. Если б не ты, я б, и верно, вконец свихнулся. Прости. Не спрашивай за что, но прости.

Голос его совсем осел, ему приходилось то и дело смачивать горло слюной.

— Слышишь? — Он взглянул наконец на жену — и внезапно увидел, что она сидит на кровати, неудобно прислонясь боком и лицом к железной решетке спинки; лицо ее было совершенно белым. — Что с тобой? — испуганно подскочил он к ней. — Тебе нехорошо?

Анна Арсеньевна слабо качнула головой. Вокруг рта ее и на лбу выступил липкий холодный пот. Прохор Ильич помог ей улечься на подушку. Он беспомощно оглядывался, не зная, что еще предпринять.

— Дать тебе какого-нибудь лекарства? Нашатыря?

Анна Арсеньевна покачиванием головы и движением руки дала понять, что ничего не нужно. В эту минуту погас свет; в Нечайске после полуночи нередко отключали электричество, особенно к концу месяца, когда принимались экономить энергию. Меньшутин даже обрадовался этому как поводу хлопотать о чем-то определенном. Он вышел за керосиновой лампой; через некоторое время из кухни донесся грохот опрокинутого таза, потом звон какого-то разбитого стекла. Наконец он вернулся, держа зажженную лампу перед собой. Каждый его шаг причудливо изменял очертания комнаты, тени образовывали новые углы, призрачные плоскости секли одна другую. Он поставил лампу не на стол, а на венский стул у изголовья, сам присел на краешек кровати. Анна Арсеньевна уже немного отошла, хотя испарина еще покрывала ее лицо; над верхней губой она образовала милые капельные усики, поблескивавшие в контрастном свете. Прохор Ильич запоздало спохватился принести еще воды и вновь исчез в темной кухне.

— Какая-то вдруг слабость накатила, — объяснила мужу Анна Арсеньевна, когда он, прогрохотав ведерной крышкой, появился перед ней со стаканом в руке. — Ни сердце, ничто не болело, просто слабость. Со мной так уже несколько раз было.

— Почему ж ты не говорила?

— Так ведь ничего не болит. И потом проходит бесследно. У меня просто появилась какая-то мнительность. Словно мне кто-то внушает, что я долго не проживу.

— Ну, глупости!

— Конечно, глупости. Я стала ужасно беспокойной. Никогда не думала, что окажусь такой наседкой. Отпускаю Зоюшку за калитку, а сама места себе не нахожу. Вчера снился глупейший сон: будто она заболела и лежит под каким-то стеклянным колпаком, а я встречаю в коридоре медсестру и хочу узнать, как Зоя себя чувствует, — вдруг сестра отворачивается и начинает от меня убегать. А я за ней — и бегу, бегу по жуткому бесконечному коридору, мимо дверей из матового стекла, задыхаюсь... Проснулась, как сейчас, вся липкая.

— Надо сходить к врачу.

— А что он мне скажет? Вот уже прошло. Скорей, к гадалке, чтоб объясняла сны. Бывает, страшный сон даже к добру.

— Конечно, бывает. Помнишь Милевича, жонглера? Ему три ночи подряд снилось, будто у него вместо головы кирпич. А на четвертый день его избрали председателем месткома.

Анна Арсеньевна слабо улыбнулась; у нее были сейчас затененные щеки, черты лица стали четче, точенее; она была красива.

— У тебя хоть нормальные человеческие сны, — грустно сказал Прохор Ильич. — А мне с некоторых пор снится все какой-то театральный вздор, причем много раз одно и то же: будто мы всем семейством должны играть в спектакле, а я пьесы еще в глаза не видел, не знаю роли, но должен выйти на сцену. Сцена вроде комнаты, с дощатым полом, с двумя дверями на противоположных концах, я вхожу с одной стороны, с другой входит Зоя и начинает произносить какие-то вымученные, якобы детские остроты. А я вставляю реплики — по догадке, невпопад; роли никто из нас не знает, а играть почему-то надо. Знаешь, как бывает во сне. И мы импровизируем нестерпимо долго, нудно, с тоской предчувствуя провал, при тишине невидимого зрительного зала — и никак не можем прийти к финалу, развязке, догадаться о фразе, на которой бы все кончилось. Мучительней всего это сознание, что так может длиться бесконечно. И главное, я почти догадываюсь, что это сон, что если б проснулся — все бы стало хорошо. Но нету сил проснуться.

— Мне в школе снилось похожее: будто я не знаю урока... А помнишь, — улыбнулась она, — мы когда-то видели одни и те же сны?

— Еще бы! И угадывали мысли друг друга на расстоянии.

Прохор Ильич оживился. Низкая лампа контрастно освещала снизу его нос и надбровья, сделав их приподнятыми, уменьшив лоб и подтянув кверху уголки губ.

— Ты не ругаешь меня за то, что привез тебя сюда? — спросил он вдруг.

— Что ты, милый! Я уже привыкла. Я так славно здесь живу. И люди здесь такие славные. Трудновато — ну не без этого. Мне так нравится этот лес и тишина. Зоя рассказывала тебе, что к нам сейчас прибегает кормиться белочка?

— Кажется, нет. Меня это с некоторых пор перестало трогать. И звери, и лес — вся эта природа.

— Ты сам это выдумал. Все-таки это неправда, что нельзя просто жить. И неправда, что искусство жестоко. Оно человечно.

— Для зрителя.

— Должно быть и для художника.

— Не будем больше об этом. Наверно, ты права. Я знаю, женщины больше во всем этом смыслят. В жизни, в счастье... — Он вновь заулыбался. — Помнишь, как ты ходила среди вишен и заглядывала в сердцевинку завязей?

— И различала беременных на взгляд.

— И подставляла живот луне, чтобы родить девочку. А помнишь, как тебе позвонили мальчишки-хулиганы и попросили: «Позовите вашу дочку»? А ты ответила: «Ее пока нет».

— Это было не совсем так. Я сказала: «Она будет месяца через четыре». А они собирались просто побаловаться, звонили наугад, такого ответа не ожидали. Как же так, говорят, а мы хотели с ней познакомиться. Я сказала: «Уж потерпите четыре месяца». А сама смеюсь. Они даже обиделись: «Чего смеетесь?»

— И ты ответила: как же не смеяться, когда такое радостное событие, — через четыре месяца будет дочка.

— Они смутились, я почувствовала. «Это правда?» — говорят. «Правда». — «А если сын?» — «Не сомневайтесь, дочка». — «Тогда желаем вам, говорят, счастливых...» И застеснялись, мальчишки все-таки. ...Счастливых, говорят, успехов.

— Как это все было невообразимо давно!

— Что ты, совсем вчера!

— Сколько же прошло лет?

- Года три?
- Что ты, лет десять!
- Постой, я тоже совсем сбилась.
- Сколько сейчас Зоюшке?
- Семь.
- Значит, семь с лишним лет назад.
- Неужели так давно?
- Нет, ты права. Какая-то мгновенная доля столетия...

Так они тихо говорили в ту ночь, еще долго вспоминая прекрасные месяцы, когда оба ждали свою Зоюшку, — ни один из них даже в мыслях не усомнился, что семь с лишним лет назад они ждали именно ее, худенькую и больше ротую, так похожую на отца: допущенная некогда обмолвка давно стала естественным и искренним убеждением, ибо память человеческая обладает целительным свойством как бы невзначай извлекать и уводить в полунебытие способные ранить осколки, — воспоминание без надрыва проскакивает мимо затененной пустоты. Надо только не бояться доверять своей памяти; супруги Меньшутины обладали этой способностью в высшей степени.

* * *

Это сказка о силе воображения, которое может властвовать над жизнью не меньше, чем силы природы, — так скажет через несколько лет Прохор Ильич о своей «Золушке».

5

Тревожный ночной разговор и воспоминание о внезапной бледности жены, об испарине вокруг милого рта — как будто частица живого дыхания вдруг проступила сквозь кожу, осев на ней холодными каплями, — все это сильно подействовало на Меньшутину, почти испугало его, вызвав ощущение глубоко затаенной вины — за многое, за многое, хотя бы уже за то, как он всегда усложнял ее жизнь, не дав сам и доли того, чего она была достойна. Вдобавок примерно в те же дни случилось еще одно происшествие, пустое, но все же неприятно задевшее Прохора Ильича. Неподалеку от их дома, на опушке леса за кладбищем, расположили свой табор залетные цыгане. Синеволосые смуглые женщины в обвислых платьях предлагали на Базарной площади газетные пакетики с анилино-

выми красками, ходили с детьми по дворам, выпрашивая молока или чего угодно другого. Анна Арсеньевна, вспомнив страшные, еще из своего детства, истории о цыганах, не отпускала Зою одну даже в сад. Как-то раз, когда Меньшутин шел в свой дворец, его окликнула на площади старуха гадалка, она сидела на приступочке у закрытого ларька среди пестрого тряпичного вороха своих юбок. Прохор Ильич, поколебавшись, подошел. Старуха бесцеремонно уставила на него взгляд круглых глаз с черной, как у животного, кожицей век; в ее желтом лице с черно-седыми усиками и маленьким подбородком было что-то кошачье. Она старательно изучила его ладонь, разложила перед собой засаленные карты и среди прочих обычных фраз двусмысленного гадательного жаргона сообщила Меньшутину, что доживет он до пятидесяти трех лет, что будут у него три дочери и младшая, красавица, каких не видел свет, выйдет замуж за бубнового принца. Прохор Ильич, начинавший слушать с интересом, в этом месте рассмеялся.

— Ну, угодила ты мне, тетка, — сказал он с непривычной для себя неделикатностью; он сам не мог понять, чем его так злит цыганка. — Значит, до этой свадьбы я не доживу.

— Почему?

— А потому что мне уже сорок три и младшая моя красавица еще не родилась.

— Так карты говорят, — засердилась в ответ старуха, усики ее над уголками рта зашестинились, увеличив ее сходство с кошкой, — и Меньшутин понял, что он ее уже видел, она приходила с бидончиком к их дверям, не хотела верить, что у них нет коровы, и зачем-то все норовила оттеснить испуганную Анну Арсеньевну от порога, чтобы войти в дом, пока выглянувший на шум Прохор Ильич не спугнул ее.

— Жульничать, тетка, не надо, — сердито сказал он, поднимаясь с корточек и бросая гадалке трешку (старыми еще деньгами). — У тебя валет ложился под крестовую даму, а не под червовую. Зачем подвинула? И этих двух тузов разбросала не в очередь. Вот как надо было... мы в этой работе тоже кое-что смыслим.

— Не трогай карты, блатняжка чокнутый! — оскорбленно замахала руками старуха. — Я вашего русского гаданья не знаю. Жулик! Сам ты жулик, киштухес чертовый, много ты разбираешься, у, пся твою крев, чтоб у тебя язык к зубам приклеился, стилижка мохеровый...

И до самых дворцовых ворот Прохора Ильича сопровождал ее гневный голос, собиравший вокруг цыганки все больше зрителей, которым не приходилось еще слышать столь диковинных ругательств, собранных старухой за многие годы странствий по разным местам нашей обширной родины.

Как бы то ни было, эта вздорная болтовня скверно подействовала на Меньшутина и утвердила его в уже принятом намерении отставить все прочее и по-настоящему вспомнить наконец о семье и доме. Надо сказать, на работу это ничуть не повлияло; обнаружилось, что дворец не так уж и нуждается в его постоянном присутствии и хлопотах, без него все шло точно так же, как с ним. Нехитрый механизм обрел инерцию; у Прохора Ильича давно имелись энтузиасты-помощники, в дни танцев им можно было доверять ключи от комнаты с радиолой и пластинками, а самому разве лишь к концу вечера проверять порядок. В цикле приливов и отливов энергии, из коих складывалась его жизнь, наступила пора очередного подъема, и подъем этот был одним из наиболее длительных и умопостижимых. Он даже попробовал делать по утрам гимнастику; Анна Арсеньевна с улыбкой наблюдала, как он, голый по пояс, умывается у дождевой бочки с замшелой затычкой на боку, где вода с ночи уже покрывалась легкой корочкой льда. Начало той осени выдалось ясное и прохладное, по утрам в затененной траве голубела изморозь, и грязь на дороге была твердая, когда Прохор Ильич провожал дочь в школу. Она могла ходить туда и одна, но Анна Арсеньевна беспокоилась, да и ему самому было приятно шагать рядом с ней, все еще сонной, видеть, как она раздавливает каблучком белую хрусткую корочку льда на лужах, слушать ее невнятную болтовню, нести в руках легонький портфельчик. На обратном пути Прохор Ильич заходил в магазин; он взял на себя даже часть стряпни и обнаружил здесь неожиданные познания, почерпнутые, как уверял он, из старинного поваренного руководства Елены Молоховец; во всяком случае, назывались блюда внушительно: какой-нибудь волован из слоеного теста с соусом кумберлянд, кулебяка с сомовьим плесом, а то и вовсе какое-нибудь картофельное фрикасе во фритюре или яйца-кокотт с грибным пюре в чашечках. Что это было на самом деле, трудно сказать, но звучные названия, бесспорно,

придавали блюдам особый вкус, и даже если они выходили подгорелыми, оказывалось, что легкий привкус уголька рекомендован рецептом для вящей пикантности. Особенно изощрялся Прохор Ильич в приготовлении грибов. Они ходили в лес почти всю осень вместе с тетей Пашей, не без удивления наблюдая, как грибы растут под взглядом старухи, раздвигают шляпками шуршащие палые листья в том месте, где только что бесполезно прошли другие.

Однажды, наклонясь за грибом, Анна Арсеньевна ощутила сильную боль в пояснице — и почти обрадовалась определенности этой боли; приступы беспричинной слабости пугали куда сильнее. Местный врач объявил, что у нее воспаление почечных лоханок, и прописал настой медвежьего ушка, однако для более точного диагноза посоветовал произвести рентген почек. Сделать это можно было только в областной больнице. Анна Арсеньевна ехать пока не захотела, ее пугала одна мысль о тряске: в воспоминании она с каждым годом представлялась все более ужасной. Три года назад от железнодорожной станции к Нечайску начали насыпать рядом со старым трактом новое шоссе, но пока не протянули и десяти километров; самолеты осенью в Нечайске не садились, да самолета она и по-давно боялась. К тому же медвежье ушко, видимо, помогло, боль в пояснице не повторялась, и Анна Арсеньевна уговорила мужа повременить с поездкой до зимы, когда путь по снегу станет легче.

Меньшутин обычными шуточками пробовал смягчить собственную тревогу. В доме явственно ощущалось какое-то неблагополучие. То вдруг сами собой останавливались большие настенные часы — потом, пропустив изрядный кусок времени, с шумом наверстывали упущенное и далее шли нормально до следующего сбоя. То старенький приемник Прохора Ильича переставал находить нужную программу в обычном месте шкалы, и она обнаруживалась совсем в другой стороне. С калитки таинственно пропал обшарпанный почтовый ящик, невозможно было понять, кому он мог понадобиться. Вдобавок тетя Паша повадилась рассказывать им вслух свои сны, и сны эти с некоторых пор шли как на подбор малоприятные: то виделась ей дорога, по которой с кудахтаньем носились ощипанные безголовые курицы, то небо, сплошь засиженное белыми толстенькими личинками, то мужик, который одновременно был деревом со множеством обрубленных ветвей: культя заросли узловатыми наплывами коры, как это бывает у старых подре-

занных тополей, лишь две последние руки торчали нескладно из широких, в косую сажень, плеч, и весь он, по словам тети Паши, был нескладный, кряжистый, бесшабашный, как первый ее муж, погибший на лесозаготовках от несчастного случая. «Ты хоть последние две береги», — говорила она ему во сне, а он со смехом матерился — ему все было нипочем. Вообще тетю Пашу с годами стало все чаще клонить в сон, особенно к осени. Она обладала способностью засыпать в любой момент по своему желанию и отдавалась этому занятию со вкусом, отправляясь спать, как другие идут в кино или театр, — смотреть сны. Иной раз она даже сюжет определяла заранее. Прохор Ильич относился к ее рассказам как к разновидности фольклора. Была у него мысль сказать старухе, чтоб она не усугубляла тревоги, и без того витавшей в доме; ее настроение всегда было заразительным для Анны Арсеньевны; потом подумал, что это значило бы придать разговорам слишком большое значение, и вмешиваться не стал.

В один прекрасный день к Меншутиным заявился совсем уж неожиданный гость — бывший бухгалтер райфо Антон Антонович Бидюк. Прохор Ильич знал его, хотя близко знаком не был. А уж Бидюк знал без преувеличения всех в Нечайске. Это был не по возрасту румяный маленький человечек со свежими влажными губами; таким он был всегда: и в сорок, и в шестьдесят лет, и эта его неподвластность возрасту многих раздражала. Лишь совсем вблизи можно было различить, что румянец его, скорей, уже склеротический, да и сами щеки вялые. Лишенные ресниц, глаза Бидюка были скрыты за непрозрачно отсвечивающими стеклами очков, круглые, как у летучей мыши, чуткие уши слабо пошевеливались, невольно вызывая сравнение с радиолокатором.

— Слышал, супруга ваша хворает? — сказал он мягким тенорком, неторопливо оглядывая комнату. — Диагноз, конечно, неопределенен? Н-да, бывает... В принципе медицина заслуживает уважения, но в нашей, так сказать, реальной жизни, — он подчеркнул слово «реальной», — бывают случаи, когда стоит подумать... н-да... и поискать самим.

Прохор Ильич не стал спрашивать, откуда у бывшего бухгалтера такая осведомленность, и не удивился его намекам. Он обратил внимание на Бидюка еще в дни первого

нечайского праздника, когда тот посоветовал быть осторожней с окольцованным пескарем; у них даже вышел потом небольшой разговор. Жизнь этого человека определяло убеждение, что все происходящее в мире имеет не столько ясную, сколько секретную причину, скрытую от непосвященных, и искать всему объяснение надо между строк, как при чтении газет; разумеется, способны на это немногие. У него была собрана целая библиотека на темы разведки и секретной политики, где каждая книга и газетная вырезка были испещрены разноцветными, одному ему понятными пометками. Жил он уединенно и осторожно, ел и пил только дома, а на случай внезапной жажды носил при себе специальную бутылочку с собственноручно прокипяченной водой. Мылся тоже исключительно дома, в особом корыте, и когда однажды обнаружил у себя на ногах грибковый лишай, долго, но безуспешно расследовал, кем могла быть занесена к нему зараза. Даже здоровался Бидюк с людьми не за руку, а кивком на расстоянии, в разговоры вступал сдержанно — и тем не менее обо всех все знал! Изредка он не прочь бывал озадачить собеседника своей непостижимой осведомленностью. «Как же ты, брат, упустил вчера последний кон в домино? — говорил он случайно встреченному на улице знакомому. — Надо было тебе сперва отдуплиться шестерочной, потом уж пустышку ставить». И облизывал кончиком языка не улыбочивые яркие губы, наблюдая из-за очков перемену в лице приятеля. А через минуту подмигивал другому: «Ну что, реквизировала у тебя супружница трешку? Ты уж ей не показывай ту, что за подкладочкой...» Справедливости ради надо сказать, что осведомленностью этой Бидюк по-настоящему всерьез не пользовался и вообще предпочитал держаться в тени. У него была репутация человека дальновидного. Никто не подозревал, сколь буквально можно было применить к бухгалтеру это слово, никто не знал, что в доме его, возвышавшемся на холме, в надстроечке вроде скворечника с окнами на все четыре стороны света, укреплен был на специальной подставке большой морской бинокль с шестнадцатикратным увеличением, и Антон Антоныч просиживал возле него часами, наблюдая в близких подробностях и базарный торг, и разговоры женщин на улицах, разбирая со сноровкой глухонемого слова по беззвучному шевелению губ, различая точки на костяшках домино в руках игроков и трешку, засунутую за шапочную подкладку. По вечерам и далеко за полночь в

окошках скворечника светилась под зеленым колпаком настольная лампа; задернув все четыре занавески, Бидюк писал.

— До вас дошло, что я хочу сказать? — говорил он теперь Меньшутину тихим тенорком, продолжая сдержанно — почти без поворота головы — оглядывать комнату. — Небесполезно было бы вспомнить, кто мог иметь против вас зло? Не обязательно из числа ближайших соседей. Но, скажем, из тех, с кем вы соприкасались прежде — там, откуда вы приехали... я понятно выражаюсь? — и у кого могло бы возникнуть желание вас разыскать. В конце концов, все таинственные явления имеют реальную, — он опять произнес это слово с нажимом и медленно провел кончиком языка по нижней губе, — реальную причину...

Боже мой, думал Прохор Ильич, с тоской поддакивая ему и кивая головой, вот еще один создал для себя особый параллельный мир — со своим светом и тенями, со своим порядком вещей, своими законами и причинами. И он говорит мне о реальности, о непреложной реальности. И пожалуй, благожелателен ко мне. Сам ко мне явился. А что мне с ним делать? Знаем мы эту пожизненную игру, эту тихую страсть, это якобы безобидное сумасшествие. Сам был почище. Хорошо, если вовремя спохватился... не дай бог, не дай бог. В каком-то смысле у каждого свой особый мир, но где-то всегда найдется точка пересечения. И не заметишь, как втянет в свои правила, в свое измерение; а дай ему еще масштаб, чтоб привести в соответствие... ах, как все это знакомо...

— Да-да, — бормотал он уже вслух, изучая уголок пространства между ухом Бидюка и его плечом, — я непременно подумаю, спасибо... в ваших словах есть нечто... Кстати... — тут он взглянул в очки собеседника — но лишь на секунду, — раз уж вы сами заговорили... мне как-то было неловко... и наверно, это вздор... Помните, вы сетовали как-то на кожную заразу, неизвестно откуда занесенную? Скорей всего, это вздор, но я наблюдал: на ваш участок наведывается одна собака, черная, в рыжих подпалинах. Причем всегда заходит на террасу, и всегда в часы, когда вас нет. А главное, всегда одна и та же. Производит впечатление дрессированной. Возможно, я ошибаюсь, но все-таки... счел долгом поделиться.

На лице отставного бухгалтера не отразилось никакого движения, но он не ответил, и Прохор Ильич получил возможность быстро перевести разговор к прощанию; под-

держав гостя за локоток, сам проводил на крыльцо и отметил про себя рассеянную учтивость, с какой Бидюк откланялся.

Зимой Меньшутиным пришлось все-таки ехать в больницу: без всяких анализов было видно, что с Анной Арсеньевной дело плохо. Лицо ее стало землисто-сероватым, хотя румянец по-прежнему возникал на нем — но уже не тот милый, цвета живой крови, а каким-то темным пятном, оставляя бледность вокруг рта и глаз, как на гротескной маске. За Зоюшкой они попросили присмотреть тетю Пашу, и та с полнейшей охотой согласилась.

Впервые за многие годы они ехали куда-то вдвоем — сперва на автобусе, потом ожидали поезда, угощаясь в станционном буфете лимонадом и бутербродами с твердой колбасой, и целовались в зале ожидания, как когда-то в молодости, когда у них не было жилья и они ходили целоваться на вокзал, где можно было изображать из себя бесконечно встречающихся или бесконечно провожающих друг друга людей; они целовались перед каждым отходом поезда и после каждого прибытия, так что внимательный милиционер мог бы наконец с подозрением приглядеться к ним, как оно однажды и случилось, и тогда они перешли на другой вокзал, где целовались уже только при встрече поездов: они действительно были всю жизнь бесконечно встречающимися. Теперь им предстояло расстаться. Прохор Ильич устроил ее в больницу; неделю он пожил в гостинице, дожидаясь, пока Анну Арсеньевну осмотрят все врачи. Терапевт препроводил ее к урологу, уролог, покачав головой, обратно к терапевту, тот к невропатологу, который неопределенно заявил о необходимости более детального обследования. Наконец Анна Арсеньевна попросила мужа вернуться обратно к дочери.

— Не оставляй ее одну, Проша, — сказала она. — И вообще — не отпускай от себя... будь с ней серьезен. Особенно если что-то случится. Обещай мне. Мне очень за нее тревожно.

Прохор Ильич в ответ стал сердито возражать ей, что ничего не может случиться, если она сама не будет внушать себе всяких глупостей, даже думать таких вещей не надо, не то что говорить. Анна Арсеньевна покорно согласилась и заверила, что ничего плохого не хотела этим сказать — так, на всякий случай. «Как славно мы с тобой съезди-

ли», — с улыбкой вспомнила вдруг она, и лицо ее просветлело. Они стояли в тусклом больничном коридоре, полосатый казенный халат туго обвивал ее девическую фигуру и был на удивление изящен, даже белые завязки у шеи выглядели из-под него как-то нарядно; серые глаза ее светились спокойствием и нежностью — а он внезапно словил себя на том, что неотрывно смотрит на нее, будто стремится запомнить вот такой, запечатлеть навсегда; потом он не раз думал, что это был миг самого отчетливого из всех его предчувствий.

Анна Арсеньевна умерла через день после отъезда мужа от внезапнейшего сердечного приступа, совершенно не связанного с предполагаемой болезнью; незадолго до того врач особых претензий к ее сердцу не предъявил, хоть и признал его, конечно, довольно изношенным.

Телеграмму Прохор Ильич получил лишь через день после случившегося. В Нечайск ворвались такие морозы, что ночью полопались лампочки на двух единственных в городе фонарях — у автобусной остановки и перед райсоветом, а провода между столбами натянулись, как струны, и ныли от малейшего шевеления воздуха. Обрыв линии произошел в ночь на субботу, и до понедельника ее никто не вышел чинить. Во вторник Меньшутин забежал на службу оставить ключи помощнику; заиндевелый, со снежными шапками на башенках, дворец был похож на кривобокий обсахаренный торт. Он уже покидал свой кабинет, когда раздался телефонный звонок из больницы; сердитый мужской голос интересовался, намерен ли он приезжать. Было ужасно плохо слышно, Прохору Ильичу показалось, что его спрашивают, где он собирается хоронить, и он поспешно подтвердил, что здесь, в Нечайске. На автобус он едва не опоздал. Народу в нем почти не было, охотников ездить в такой мороз без особой нужды нашлось мало. Отъехав от города километров пять, машина закашляла и остановилась. Шофер открыл капот, долго копался в моторе, согревая дыханием пальцы, наконец выругался: чинить поломку сейчас было делом безнадежным. Он слил воду из радиатора и посоветовал пассажирам возвращаться в Нечайск пешком; может, повезет и с попуткой. Следующий автобус ожидался вечером. Меньшутин слушал его, плохо понимая, слова пробивались к нему точно сквозь тяжкий морозный туман; он кивнул и зашагал в

сторону, противоположную от Нечайска. Шофер весело окликнул его, решив, что товарищ спьяну перепутал направление; когда Меньшутин не отозвался, он догнал его и придержал за плечо. Правда, он тут же убедился, что папаша не пьян (Меньшутин показался ему старым, потому что брови его были совсем белы от инея), а скорее чокнут. Сорок с лишним километров до города в такой мороз ему не осилить, сказал шофер, а попутку надежней ждать в тепле. Меньшутин возразил, что дальше можно будет встретить грузовик с лесоразработок. Шофер засмеялся: лесоразработки давно отсюда перевели, здесь все вырубали. Тот выслушал его слова, но как будто опять не понял, пошел дальше. Парень окликнул его раз, другой, потом махнул рукой: не держать же дурака силой; по дороге были еще три деревни — может, и вправду оттуда кто-нибудь выедет; но ближайшая из них лежала еще в пятнадцати километрах.

Меньшутин шел, не ощущая мороза; снег жестко и равномерно скрипел под его калошами; все вокруг было белым: белое небо за пленкой облаков, белая земля, белые деревья, точно узоры на замерзшем стекле, белый пар от дыхания; он шел сквозь эту жгучую опустошающую горестную белизну, делавшую мир безразлично-непроницаемым для взгляда, и сам пропитывался этой белизной, сливался с ней. Он потерял представление о пройденном расстоянии в этом равномерном однообразном пространстве и не удивился, когда впереди показалась деревня. Белые дымы поднимались над белыми сугробами, вишни за снежными заборами снова были в белом цвету; у околицы сидела на сугробе собака, похожая на изваяние, сделанное из того же снега. Меньшутин подошел поближе, и собака окончательно превратилась в сугроб; вслед за нею исчезла и деревня; зато из кустов показалась чья-то заиндевевшая рожа, закрипела: «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?» И этот цитирует, рассеянно подумал Меньшутин. Уж здесь-то мог бы обойтись без шутовства. Рожа фыркнула и закрыла за собой ветки, устроив бесшумный снегопад. Лишь теперь до Прохора Ильича начал доходить мороз, он ломил надбровья, склеивал веки, оглушал, корень языка и вся кожа тела ощущала его холодно-спиртовой, кисло-сладкий привкус. Из-за облаков на минуту высвободился тоненький длинный лучик солнца и тотчас заледенел; Меньшутин приблизился к нему, щелкнул ногтем — лучик зазвенел, как сосулька. Затем он

исчез, и белизна опять стала непроницаемой. Когда впереди вновь показалась деревня с белыми дымами над трубами и белыми вишнями за заборами, Прохор Ильич окончательно убедился, что движется на одном месте, и, как ни странно, испытал нечто вроде облегчения. Это оказалась, однако, настоящая деревня. Он успел здесь отогреться и прийти в себя, когда прибыл вечерний автобус из Нечайска; однако на поезд он уже опоздал и лишь утром следующего дня добрался до больницы, где узнал, что гроб с телом Анны Арсеньевны час назад увезли в Нечайск. Прохор Ильич не стал даже доискиваться, как могло случиться такое недоразумение, настолько странное и малоправдоподобное, что собравшиеся в его доме соседки не очень-то поверили ему, когда он прибыл сюда через несколько часов после покойницы. Впрочем, он и без того здесь только мешался; всем распоряжалась тетя Паша — умело, со знанием, даже как бы со вкусом. Изголовье гроба она украсила розами — теми самыми, что Меньшутин когда-то купил на базаре у сурового мастера, а потом засунул в самый дальний ящик комода; тетя Паша, знавшая здесь все уголки, извлекла их на свет, опрыскала изо рта водой, и сейчас они лежали как живые, с капельками влаги на светло-алых лепестках, бросая отсвет легкого румянца на щеки Анны Арсеньевны. Всех особенно неприятно поразило, когда Прохор Ильич вдруг потребовал убрать их, да так резко, так яростно — пожалел цветы, что ли? Вообще поведение его не нравилось соседям, и размягченное их доброжелательство к человеку, застигнутому несчастьем, — доброжелательство, в котором всегда есть толика благодарного облегчения за то, что из общей суммы бед, заготовленных на всех судьбой, он уже взял свою долю и, значит, уменьшил статистическую вероятность несчастья для них, все больше сменялось некоторой даже подозрительностью. Хоть бы слезу выдавил; ходил по дому хуже постороннего, не встречался ни с кем взглядом, а если встречался, то подергивал головой и улыбался, точно извиняясь и желая пояснить каждому, что он ни в чем не виноват, — но сейчас же отводил глаза и принимался тереть пальцы или уши (обмороженные, они зудели у него в тепле). И уж когда он вдруг вознамерился прогнать явившийся к дому духовой оркестр, свой же, дворцовый, — ему этого не позволили. Оркестр шел впереди гроба до кладбища; Меньшутин ковылял где-то сбоку, как дальний родственник. Зою вела за руку тетя Паша. Мороз уже от-

пустил, воздух был наполнен легкой снежной пылью и оставлял на языке сладковатый арбузный привкус. Хотя кладбище находилось совсем неподалеку, за выступом леса, Прохор Ильич впервые за все годы оказался здесь; его внезапно поразила крохотность отгороженного места; сознание отвлекла странная мысль, что могил тут было меньше, чем домов в Нечайске, хотя, казалось бы, за множество лет в земле должно было собраться куда больше людей, чем их ходит по поверхности. В самом деле, она присоединяется к большинству и увеличивает его, подумал он и тут же опомнился: о чем я!.. Стояла оглушительная пустая тишина; беззвучно раздували щеки трубачи и валторнисты, ватно сходились одна с другой медные тарелки, и лишь частицы сухой, добела раскаленной снежной пыли, соприкасаясь в воздухе, издавали чуть слышный прозрачный шелест.

6

Неблагоприятное, даже несколько подозрительное впечатление, которое произвел Прохор Ильич на похоронах, было полностью искуплено его последующим поведением. Правда, некоторым не понравился рассказ тети Паши о том, что он снял со стены в комнате большую фотографию Анны Арсеньевны, объяснив, что она якобы вдруг перестала быть похожей, то есть попросту исказилась до невозможности; это смахивало на очередную сомнительную выходку. Зато молчаливость Прохора Ильича — точно от пережитого мороза в нем что-то заледенело — быстро оттаяла, он готов был подступить к любому, кто соглашался слушать, и не без навязчивости принимался рассказывать о жене, о ее удивительном нраве, доброте и терпении и о том, как они целовались на вокзалах и на скамейках, как она вынашивала Зоюшку, как подставляла живот полной луне, чтобы, согласно примете, родилась девочка, как угадывала взглядом плодоносящих и как ей звонили по телефону славные мальчишки-хулиганы. У иных эта забывшая меру открытость вызывала неловкость, искорки в глубине его черных зрачков пугали, но многие слушали с жадностью, а тетя Паша так по нескольку раз, и все с сочувствием оценивали эту разговорчивость как признак несомненного горя.

Но сверх всякого ожидания была его забота о дочери. Он ухаживал за ней, как женщина, — сам стряпал, даже

при надобности шил, и неплохо, расчесывал по утрам косички, отпускал от себя разве что в школу, а по вечерам брал с собой во дворец, где Зоя смотрела кино или сидела в комнате за сценой, тихо наблюдая через открытую дверь за танцующими. Тем не менее соседи надеялись, что, выждав приличный срок, Прохор Ильич женится заново: человек он был еще нестарый, а девочке, как ни говори, нужна была мать. Но проходил месяц за месяцем, прошел и год, и другой, а он все жил вдовцом. Тетя Паша, вспомнив давнее свое призвание, пробовала свести его с некоторыми незамужними женщинами, причем выбирала конечно же не каких-нибудь, а образованных, серьезных, хозяйственных, не говоря уже о внешних женских достоинствах. Она сама заранее ревновала каждую из них к памяти своей любимицы, но словно подчинялась какому-то неодолимому инстинкту, не позволявшему оставлять человека без пары, обломком. Прохор Ильич уклонялся от ее направляющей руки мягко и, по обыкновению, как бы конфузясь, отчего возникло даже мнение, что он просто чувствует себя неспособным к выполнению супружеских обязанностей. Тетя Паша после каждого такого отказа оскорбленно покидала дом, но через некоторое время вновь появлялась, причем безошибочно каждый раз, когда накапливалась очередная стирка, и сердито объясняла Меньшутину, что пришла, только жалеючи девочку.

Впрочем, Зоя и без ее помощи уже со многим могла справляться. К десяти годам она вытянулась, поздоровела, хотя оставалась по-прежнему худой и все еще гундосила из-за миндалин, но от простуд избавилась, и ее привычные к босой ходьбе пятки уже в мае бывали несмываемо-черны от липкого сока приклеившихся к ним тополиных почек. Только в озере ей купаться не разрешалось, слишком холодной оставалась здесь все лето вода. Зато они полюбили с отцом гулять по его берегу — на дальний конец, где за густыми зарослями ольхи ими был открыт высокий обрыв, а под ним — омут с прозрачной угольно-черной водой. Подступы к нему охраняло множество паучков-крестовиков, и надо было осторожно обходить, подныривать или продираться сквозь их липкие, полуневидимые сети; над водой летали стрекозы с крыльями из красной, синей, зеленой и оранжевой, в прожилках, слюды, а если долго смотреть сверху в черную глубину, можно было увидеть иной раз, как проплывает, лениво поводя хвостом, тусклая таинственная рыбина. Прохор Ильич забыл, что

так бывает; о, как много он, оказывается, забыл! Они ходили по траве, разбрызгивая из-под ног кузнечиков, но стоило ему нагнуться пониже, и он с удивлением обнаруживал, что кузнечики не только прыгают — обычно они ползают, шагают на тоненьких мушиных ножках, которыми были снабжены помимо общеизвестных, складных. Он наверняка видел это прежде, в пору, когда глаза его были ближе к земле; собирая год за годом все новые знания, он не заметил, что растерял и позабыл их не меньше — первоначальных, коренных. Он не помнил названий деревьев и трав, цветов и ягод, о которых все спрашивала его Зоя; он по-прежнему мог воспроизвести голоса птиц, но, к собственному замешательству, путал их имена и почему-то, не желая признаваться перед дочерью в своей беспомощности, говорил ей придуманные наугад, самодельные прозвища. С облегчением и в то же время смущением он обнаружил, что Зою это вполне устраивает, тем более что она все равно плохо удерживала имена в памяти и сама потом заменяла их новыми, на свой вкус.

Все это было прекрасно, это было, наверное, наслаждение — но словно невытянутая заноза, словно нерассосавшийся гнойничок начинал то и дело ныть, зудеть внутри, не давая Прохору Ильичу сполна отдаться этой безмятежности, заставляя его убеждать себя: это ведь и есть то, о чем стоит мечтать, верно? Это и есть жизнь... Зоя приносила из лесу корни и сухие ветки, в которых ей увиделись чьи-то причудливые очертания, они обрезали ножом лишнее, ставили фигурки на подставки — а какая-то посторонняя струна все ныла, будто напоминала ему о сомнительности их занятия. Гораздо спокойней было Прохору Ильичу возрождать собственные свои давние навыки: он делал для Зои свистульки из бузины, из сухих стручков акации и из сочного полого стебля цветка, названия которого так и не вспомнил, мастерил с ней из бумаги птичек, кораблики, кошельки и надувных чертиков, клеил змея, сомневаясь, сюда ли прикрепляется хвост, — но змей, как ни странно, взлетал, и Прохор Ильич с облегчением убеждался, что это все-таки жило в нем, как умение плавать или ездить на велосипеде, — сейчас оттаивало.

Конечно, он мог научить дочь в основном мальчишеским умениям, но ей, казалось, это и было нужно. В ее худой нескладной фигуре было что-то мальчишеское, она и бежала по-мальчишески, без видимых усилий обгоняя многих.

Ее охотно принимали в игры, хотя партнерам она доставляла не меньше досады, чем радости: в ней совершенно не было интереса к победе. Когда в известной игре, называемой «круговая лапта», Зоя последней оставалась в кругу и от нее зависело спасение всей команды, она в последний момент могла поддаться соперникам нарочно, чтобы избавить их от огорчения. У нее как-то вылетало из головы, что тем самым она приводит в бешенство собственную команду; право, для нее это всякий раз оказывалось проблемой. Прохор Ильич, наблюдая за дочерью, не раз думал, что Анна Арсеньевна зря корила себя за недостаток воспитательных стараний: тут чувствовался ее дух, намеренные беседы ничего бы не добавили. Он знал, что Зою в досаде называют придурковатой, тем более что вялость сочеталась в ней с внезапной порывистостью, а незаинтересованность в победе — с упрямством и безоговорочностью пристрастий. Она не казалась необщительной, к ней приходили подружки вместе готовить уроки, но чувствовалось, что среди общих игр и разговоров она скорей занята чем-то своим. Имея в распоряжении большой пустой дом, Зоя предпочитала потайные убежища: за поленницей у сарая или в кустах густой сирени, где летом можно было устроить себе нечто вроде шалашика, перенеся в него еду и книги; она жила как бы в своей раковине, и внешние звуки доходили до нее в виде причудливого перламутрового шума.

Однажды девочка явилась домой с разбитым лбом: в нее запустил камнем соседский Юра, светловолосый взвинченный пацан, прозванный Бешеным. По ее рассказу, это случилось так: они шли рядом из школы, вдруг он взял ее за руку, и Зоя ощутила по всей коже кислотоватое пощипывание, какое бывает, когда лизнешь языком электрическую батарейку. От неожиданности она поморщилась и выдернула руку. Тогда вот Бешеный отскочил в сторону и запустил в нее камнем. «Ты его обидела,— покачал головой Прохор Ильич.— Он не хотел тебе сделать плохого, просто взял за руку». Юра был когда-то одним из способнейших учеников Анны Арсеньевны, Прохор Ильич знал его. Не так давно Юрина мать принесла Меньшутину почтовый ящик, таинственно пропавший почти два года назад и обнаруженный вдруг на их чердаке. Прохор Ильич без труда связал оба происшествия воедино. «Вот и в тебя,

девочка, влюбились», — подумал он с улыбкой. Скорей всего, над ним бы посмеялись, вздумай он уверять, будто смешная и тайная детская влюбленность может тянуться так долго, но он не сомневался, что все это именно так. Юра был года на три старше Зои, почти одного с ней роста, гибкий, тонкий, весь какой-то резиновый. Приятели, желавшие позлить его, любили крикнуть ему издалека: «Почем золото?», а Митька Пузиков, известный охальник, припевал: «Удивительный вопрос, почему я говновоз?» — тоже издалека, потому что, зайдясь, Бешеный не помнил себя и мог покалечить кого угодно. Дело в том, что отец его был золотарь, человек заметный и по-своему важный в Нечайске; он разъезжал на своей бочке, запряженной серым мерином по имени Амур: грузный, краснолицый, толстогубый, заросший разноцветной щетиной — и служил предметом многих пересудов. Появился он в городе во время войны среди эвакуированных, женился да здесь и осел, заменив умершего к той поре старика ассенизатора. Кто он и откуда, не знал даже всеведущий Бидюк, и отношение к нему установилось примечательно двойственное: презрительное (ибо каждый сознавал свое превосходство над вонючим золотарем) и одновременно завистливое: еще бы, сумел сразу найти доходное местечко. Платили ему по какой-то традиции, не торгуясь, — поскуписься, в другой раз заставит ждать, особенно весной, пока из отхожего места, которые здесь копали мелко, не начнет переливаться (употреблять это добро для огородов в Нечайске не было принято). Он подъезжал к воротам, покачиваясь в лад задумчивым шагам своего Амура: на голове старинный картуз, к нижней губе навечно прилип окурок, из ноздрей валит дым; маленькая трясогузка, устроившая свое гнездо на самом передке его повозки, под бочкой, в тревоге перед новым человеком отлетала каждый раз в сторону и начинала известный спектакль, отвлекая опасность от птенцов: убегала по земле, потряхивая белочерным хвостиком и притворяясь подстреленной, взлетала, вновь садилась на землю и опять взлетала. Золотарь совершал свое дело, водружался на повозку и, если хозяйка медлила, напоминал хриплым голосом: «Ну, гони миллиончик...» Некоторые, особенно старухи, не признаваясь в том никому, считали, что соприкосновение с домашними отбросами и нечистотами сообщает золотарю способность судить о состоянии дел в семье и доме, и внимательно прислушивались к замечаниям, на которые он не скупился во

время работы — особенно к концу недели, когда он успевал надышаться своими ароматами и точно пьянел от них. В субботу вечером его бессловесная красавица жена топила баню, по-деревенски устроенную в собственном доме (еще б ему заявиться в общую!), он выпивал поллитровку, утром опохмелялся и выходил на улицу, переодетый в чистое, аккуратно подбритый — неузнаваемый; водка действовала на него странным образом, не опьяняя, а, наоборот, словно снимая, нейтрализуя обычное его опьянение; взгляд воспаленных глаз становился осмысленным, он вежливо и вяло здоровался со знакомыми, покупал на почте газеты, беседовал в чайной о политике — почему-то напоминая всем обвисший мешок. С понедельника к субботе глаза его вновь наливались краснотой, лицо обрастало разноцветной щетиной, голос становился хриплым и грубым. Так продолжалось до осени, когда трясогузка с очередным своим выводком улетала в Африку и он ставил свою бочку на покой в темный сарай, где на ней вырастали шампиньоны.

Зимой золотарь был простым возчиком коммунхоза; потом возвратившаяся птица откладывала в привычное гнездо пяток пестро-коричневых яиц, и для него начинался очередной кругооборот... Люди затруднялись в суждении, стоит ли сочувствовать его жене или, напротив, завидовать ей. Что-что, а деньги у нее были, сын их одевался лучше многих, да и сам по себе был хорош: голубоглаз, тонколиц, умница, отличник, с особым талантом к музыке и рисованию — всем бы на радость родителям, если б не взрывчатый его характер. Он будто жил в убеждении, что над ним беспрерывно смеются, брезгуют им, мог полезть в драку за невинное словцо, а то и вовсе без повода, и хотя был невелик ростом и не силен, с ним не любили связываться, ибо в ослеплении он забывал меру и правила. Он был весь заряжен постоянным яростным электричеством; когда он причесывал свои жесткие сухие волосы, светлый нимб искр плясал под эбонитовой расческой, и, дотронувшись до него в минуту его особенной нервности, можно было ощутить довольно чувствительный удар... Прохор Ильич не знал, как объяснить все это Зое, да и стоило ли. Хотя под маечкой у нее уже чуть набухали трогательные остренькие соски, она все казалась какой-то неразбуженной. Уж все про них, наверно, знали, и сколько было пропето дразнилок — до нее же будто и не дошло. К счастью, летом Юра кончил седьмой класс и уехал из Нечайска —

поступать в техникум. Что ж тут поделаешь? Милая и грустная штука — детская любовь, ей не дано ничем разрешиться — только ждать своей поры...

Как-то в конце августа Меньшутин был послан на совещание клубных работников в Москву и взял с собой Зою. Многолюдство гигантского города смутило его; люди текли по улицам, соприкасаясь, сталкиваясь, огибая нечаянные препятствия, — как молекулы в бездушном потоке, просачиваясь, вдавливаясь в двери магазинов, точно в горловину песочных часов, — и закрадывалась странная мысль: да нужно ли их столько? Меньшутин пробовал напомнить себе, что каждое лицо — это жизнь, судьба, это целый мир, но не получалось; бесчисленность лиц не позволяла в них взглядеться, сосредоточиться, вообразить роль каждого. После прогулок по улицам у него начинала сильно болеть голова — толчками, будто какая-то тупая мысль с усилием пробивалась сквозь скорлупу; это были первые приступы тех самых головных болей, которые с перерывами, затихая и возобновляясь, уже никогда его не оставляли.

Зоя разглядывала Москву молчаливо и скованно. Хотя она впервые в жизни увидела и поезд, и трамвай, и метро, и огромные дома с лифтами, Кремль, наконец, поразило ее все это не так, как она сама ожидала. Воображение ее, подготовленное книгами и кино, заранее и, пожалуй, ярче знало и эти самодвижущиеся лестницы, и самооткрывающиеся двери, и улицы со всеми их чудесами; оглушили ее скорей размеры — как будто она вошла внутрь знакомой картинки, уменьшившись до зернышка: дома, поднявшиеся как на опаре, нависали над ней уступами одинаковых окон, так что приходилось все время задирать голову; солнце с тесного неба дышало сухим пыльным жаром отопительных батарей, от этого привкуса першило в горле; изгибы и горбы улиц были закаменелые, заскорузлые, и все отдавало геометрическим поскрипыванием, жестяным грохотом, шелушащейся жесткостью папье-маше, держало в бездумном напряжении. Пережить Москву по-настоящему раскованно, осмыслить и досочинить ей еще лишь предстояло по возвращении в Нечайск...

Уже незадолго до их отъезда на одной из улиц случилась встреча, немало взволновавшая Меньшутину. Собираясь свернуть с Зоей к станции метро, он вдруг остано-

вился как пораженный и сжал руку дочери так сильно, что она вскрикнула.

— Взгляни,— зашептал он возбужденно,— вон идет человек, видишь? Вон, старик в таком чудном клобуке... да ты посмотри как следует — это же я? Я в старости! Боже мой, совершенно те же черты, только обветшавшие...

Действительно, в человеке, на которого указывал Меньшутин, было с ним удивительное сходство: тот же рост, то же широкое лицо с шишковатым носом, только изрядно багровым; под глазами набрякли темные мешки; длинные волосы, спускавшиеся назад из-под фетровой шляпы с обрезанными полями, были еще темны, лишь загривок порос неопрятной сединой, отчего и хотелось называть его стариком. Он шел быстро, заложа руки за спину, наклонясь от этого немного вперед, и даже припадал на левую ногу, как Меньшутин. Но все же подобная встреча, тем более в Москве, где кого только не увидишь — хоть негра,— была не настолько чудесной, чтобы так поразить человека, как это случилось с Прохором Ильичом. Он последовал за стариком, таща дочь за руку и ничего вокруг не видя. Тот свернул к небольшому скверику и остановился у пивного ларька; Меньшутин занял очередь за ним. Боже мой, боже мой, в смятении думал он, неотрывно глядя сзади на бритую щеку старика, на красное ухо с пуком седых волос, на усыпанный перхотью пиджак и седой загривок над засаленным воротом рубашки, вот так оно все и будет, так вот просыплется год за годом, быстренько, оглянуться не успеешь, да и не захочешь оглядываться — что там было у тебя в голове и какие возникали миражи,— ладно уж, чего теперь, сколько там осталось... уж как-нибудь, бочком, бочком... простите, что занимал место. И пиво-то он просит с виноватой улыбкой, и тетка ему конечно же не долила... Старик отошел с кружкой в сторону (столов и тем более стульев здесь, понятно, не было); Меньшутин через короткое время оказался рядом с ним.

— А девочка-то ваша спит,— неожиданно обратился к нему старик.

Прохор Ильич оглянулся: Зоя действительно стояла возле него с закрытыми глазами.

— Устала,— объяснил он и сам отер запаренный лоб. Разбавленное пиво было необычайно вкусно и целебно орошало иссохшее запыленное горло.

— Очень похожа на вас,— словоохотливо продолжил тот.

— Да... Все говорят. Самое удивительное: не только внешне — даже почерк у нее мой. Хотя никогда не видела, как я пишу; дома я этим не занимаюсь.

— Первый раз в Москве? — спросил старик, отхлебывая из своей кружки.

— Она — первый. Я бывал здесь до войны. И после.

— Тут сомлешь, особенно с непривычки. Икрытник. Когда я попал сюда лет пять назад и увидел откуда-то с балкона это месиво, я подумал: ой-ей-ей! Очень, знаете ли, поучительно увидеть себя сверху в виде суетной молекулы. Именно думаешь: ой-ей-ей! Вот она, значит, наша жизнь. Что же в ней, спрашивается, принимать всерьез? Особенно в моем возрасте, когда впереди, можно сказать, огрызок.

— Да, да, — согласился Меньшутин, не удивляясь, что сентенции пьющего пиво старика так совпали с его собственными мыслями; даже голос был знаком — он доходил до Прохора Ильича неясно, сквозь сияние возобновившейся головной боли. — Когда умерла моя жена, я испытал это: какой же смысл имел весь азарт, метания, и может быть, грех на душу — перед лицом вот этого...

— Известная тема. Но с другой стороны, — поднял бровь красноносый философ, — не на все же смотреть с балкончика. Себя-то знаешь еще и изнутри, какого ни на есть, но со своими мыслишками, идеями, надеждами — может быть, пустячными, нелепыми — но ведь твоими. Исключительными, так сказать. Выделяют же они тебя из среды этих молекул, никто другой на свете и вообразить такого не может.

— Где уж вообразить, — усмехнулся Меньшутин. — А если это именно ересь, навязчивая болезнь, игра, да еще сомнительного свойства?

— Что из того? — охотно откликнулся тот. — Допустим, я старый графоман — что ж мне, отказаться от себя? От своей судьбы, своего лица? Своей, как вы выразились, игры? Нет уж, позвольте мне поиграть. Может, одно только это и имеет смысл. А коли вас так уж смущает мораль, взгляните еще разок с балкона. Поучительно и излечивает от излишней серьезности. — Старик поставил пустую кружку на прилавок, отер пальцами мокрые губы и достал трубку с резной головкой; Меньшутину показалось, что на ней изображена какая-то рожица, но разглядеть внимательней не успел, тот закрыл головку пальцами. — Хорошо было пивцо, — благодушно продолжал он, раскуривая трубку. — Вот так выпьешь после всего, затынешь

ся хорошим табачком — вспомнишь, что в жизни есть еще и удовольствия, а?

— Да, да,— соглашался Меньшутин; из-за головной боли, а отчасти и от пивного хмеля он с усилием собирал мысль, даже язык ворочался затрудненно,— можно и так, можно и так. Вряд ли вы правы, но я вас понимаю. Кому что дано. Моя жена... о которой я говорил... она бы вам ответила. Она умела талантливо жить. Всерьез. И ирония ее была уважительной. Но если у тебя по-иному смещены извилины — может, тебе так и положено? И нечего оглядываться? Теперь-то — чего оглядываться? Может, тебе особо открыли роль, выпихнули на подмости — и ступать в самом же начале?.. от философской широты или испуга... скомкать все, как неудавшийся черновичок?.. это, может, жизненный провал, позор, а?.. — говорил Прохор Ильич — или думал уже безмолвно, догадываясь наконец, какая мысль проклевывалась в приступах головной боли и почему не было ему до конца спокойно, когда он бродил с Зоюшкой по озерным берегам и вглядывался в ползанье кузнечиков; сама боль стала ясней, прозрачней и отчаянней — так птица бьется о стекло, словно о затвердевший воздух: деревья, небо, вольное дыхание — вот они, перед тобой — как же к ним прорваться?.. Он не сразу обнаружил, что старика рядом уже нет, тот удалялся по улице расслабленной походкой свободного человека; когда и как он попрощался, прошло мимо памяти Меньшутина. Он схватил за руку Зою, кинулся за ним — и едва успел отпрянуть перед выскочившим наперерез красным «пикапом»; машина промчалась так близко, что начисто срезала две пуговицы с его плаща. В следующую минуту перед Меньшутиным предстал великан постовой. «Ай, гражданин, гражданин, как же так можно? — сказал он с расстановкой, мягко, по-украински выговаривая «г» и выдерживая паузы после каждого короткого перехода. — Особенно когда идете с детьми, которым, между прочим, принадлежит наше будущее». Он с искренним удивлением покачивал головой и оглядывался на подоспевших зевак, как бы призывая их в свидетели столь невероятного поведения. Меньшутин обнаружил, что боль его вдруг прошла. Он выслушал неторопливую, в меру длинную лекцию добродушного великана с интересом, даже с удовольствием, после чего получил квитанцию штрафа на пятьдесят копеек.

Всего он привез из Москвы четыре такие квитанции.

Все они оказались аккуратно подколоты скрепкой вместе с командировочным удостоверением, проездными билетами и прочими подотчетными документами, что доставило принимавшему их бухгалтеру минуту недоумения и веселья, а Прохора Ильича заставило стукнуть себя кулаком по лбу с досады на свою феноменальную рассеянность.

Вернулись они домой к началу школьных занятий. На одном из первых уроков учительница истории предложила Зое рассказать классу о своих московских впечатлениях — не так уж часто жителям Нечайска удавалось попадать в столицу. Зоя сперва говорила вяло, но постепенно разошлась, стала рассказывать про мотоциклистов, которые в Москве могут ездить по стенам, про одинаковые дома с одинаковыми комнатами, где можно жить по очереди: сегодня в одном доме, завтра в другом, про лифты, которые при подъеме и спуске задевают специальные колокольчики, отзванивая мелодию, особую для каждого этажа — восходящую при подъеме и нисходящую при спуске, — и про то, что из кранов там льется такая горячая вода, что от прикосновения к ней загорается бумага... «Ты что нас, за дурачков считаешь?» — оборвала ее наконец под общий смех учительница, и изо рта ее вылетел ворох шипящих сухих углей. Зоя пожала плечами и со свойственной ей вольной неучтивостью отказалась от дальнейших объяснений, получив в дневнике замечание о попытке сорвать урок.

Это была первая сердитая запись в Зоинем дневнике; за ней последовала череда других. Переход в пятый класс дался ей со скрипом. Если до сих пор по всем предметам у нее была одна учительница, которая успела за четыре года привыкнуть к ее повадке диковато-сонного зверька и в глазах которой невнимательность на одном уроке уравновешивалась интересом к другому, то теперь каждый требовал почтения именно к своему предмету. Особенно экспансивен бывал преподаватель английского — редкостный учитель, рыцарь своего предмета, тот самый, что прочел когда-то по-английски название заозерной деревушки на латунном кольце. По-русски он говорил даже с небольшим акцентом и испытывал затруднения в выборе слов; чтобы восполнить недостаток в отечественных пособиях, он много лет трудился над переводом знаменитого синонимического словаря Уэбстера. Его приводило бук-

важно в отчаяние, когда Меньшутина некоторые слова не то что не могла запомнить — просто не принимала. Что «сауэ» означает «кислый», с этим она охотно соглашалась, и даже рот ее на переходе гласных кривился, как от лимона; но что и «тат» (с долгим «а») примерно того же вкуса — это у нее не укладывалось. «Что тут кислого?» — пожимала она плечами (а класс, естественно, опять веселился). Для добрейшего Семена Сергеевича это было хуже личного оскорбления. Его запись в дневнике Меньшутинной было воплем уязвленного в лучших чувствах человека и побудила наконец Зоину классную руководительницу Светлану Леонидовну пригласить в школу для собеседования ее отца.

Так Прохор Ильич познакомился с этой славной женщиной.

Светлана Леонидовна приехала в Нечайск из Ленинграда после окончания педагогического института и не имела намерения оставаться здесь более положенных трех лет. У нее были свои дальние планы, она училась в заочной аспирантуре, замуж пока не собиралась, тем более в Нечайске, — вообще чувствовала себя здесь человеком временным, на летние, а при возможности и на зимние каникулы уезжала домой и бестрепетно отклоняла всякие попытки ухаживания. Когда она, высокая, статная, в красной синтетической шубке и черных чулках — по моде, преждевременной для Нечайска, — в белом пуховом платке на светлых волосах, уложенных независимо от всякой моды тяжелой короной, проходила от дома шофера Пилипчука, где квартировала, к школе или вечером к клубу, парни, стоявшие кучками перед началом сеанса, поворачивали вслед головы, неуверенно погогатывали, и кто-нибудь восклицал: «Мать моя была женщина!» — с ощущением своеобразной озадаченности, которую следовало бы выразить совсем иными словами. В гоготании этом звучала, пожалуй, досада на ее недоступность; всем своим видом и всей повадкой Светлана Леонидовна делала надежды заранее праздными. На танцы не ходила, только иногда в кино, по вечерам больше бывала дома; в семье Пилипчука ее любили за скромность. Конечно, в нее были влюблены некоторые ученики, и не только старшеклассники, но и семиклашки, — так это не в счет. Что и говорить, эта женщина создана была не для жизни в Нечайске.

Разговор с явившимся в школу по ее вызову Меньшутинным она начала не совсем уверенно.

— Видите ли,— сказала она,— у меня самой к Зое нет особых претензий. Она бывает рассеянна, невнимательна. Иной раз посреди фразы, даже посреди слова у нее меняется ход мысли; например, начинает: друг, но тут же уточняет для себя: приятель, а выговаривается на ходу какой-то гибрид: другатель. Конечно, ей это мешает. Но развита она хорошо, литературой, то есть моим предметом, интересуется живо; что же касается склонности к фантазированию, то лично мне это даже нравится, хотя возникают эти фантазии не всегда вовремя. Но что делать, не у всех моих коллег есть чувство юмора. Многие жалуются, что она сбивает им ход урока. Особенно возмущает вольность, с какой она обращается ко взрослым,— как будто не понимает, что перед ней не девчонки и не мальчишки.

— Да, да,— сокрушенно согласился Меньшутин,— она дикарка, это моя вина. Без матери... что поделаешь. Ходит к нам одна старуха, но от нее можно набраться чего угодно, только не хороших манер. Я учту... постараюсь.

— И потом это упрямство, с каким она отстаивает каждое свое слово...

— Да, да,— подтвердил Меньшутин,— вот главная ее уязвимость. Надо бы полегче, не так. Всегда ведь есть возможность как-то обойти, оставшись при своем. А для нее пустяк может оказаться потрясением...

И он рассказал учительнице давнюю историю о выпитых чайниках, которые стали причиной заправдашной болезни.

— Может, посоветоваться с врачом?— заботливо спросила Светлана Леонидовна.

— Какое тут лечение!— махнул рукой Меньшутин.— Это у нее наследственное. Прямо беда, что и говорить. Хоть бы это хорошо кончилось.— Он оживился:— Я знавал когда-то одного артиста, мастера перевоплощения, он мог по-настоящему потеть, поднимая бутафорские тяжести. Так представляете, однажды после особенной натуги он попросту угодил в больницу. Опушение почки, ни больше ни меньше...

Светлана Леонидовна засмеялась и взглянула на плоские мужские часы, которые носила с тыльной стороны запястья на широком кожаном ремешке.

— Жаль, что вы пришли не совсем в удобное время:

у меня сейчас урок в пятом классе. Хотелось бы поговорить с вами еще.

— Мне тоже,— сказал Меньшутин.— А можно посидеть у вас на уроке?

Учительница, смутившись, согласилась. Прохор Ильич прошел с ней в класс, с трудом втиснулся за маленькую заднюю парту. Первая часть урока, с чтением наизусть заданного на дом стихотворения, прошла для него скучновато, но когда заговорила Светлана Леонидовна, Меньшутин заинтересовался. Речь шла о «Коньке-горбунке» — Прохор Ильич не был уверен, что подобное объяснение полагалось по программе, скорее всего учительница увлеклась, и он мог ее понять.

— Помните, ребята,— говорила она,— как Конек-горбунок советовал Ивану не зариться на перо Жар-птицы:

Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою.

Так оно и случилось, верно? Ну, а не окажись Иван таким непослушным? Непокою не было бы — но ведь и ничего другого не было бы. Ни Царь-девицы, ничего. Катался бы при дворце как сыр в масле — вот была бы и вся сказка.

— Еще бы, его Горбунок всегда выручал,— подал голос какой-то умница с передней парты.

— Верно,— с удовольствием подхватила учительница,— если б не волшебный Горбунок, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Заранее этого не знаешь. Я просто хочу, чтоб вы поняли: откажись Иван от пера Жар-птицы — не было бы у него никакой сказки. Нечего было бы рассказывать. Про умных братьев Ивана — нечего же рассказывать. Помните, как они жалуются:

Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.

Насчет двух рублей — это они, пожалуй, с досады. Выбьют и два рубля, и больше, и скорей, чем дурень. Но вот Горбунка им не заполучить. И за жароптицевым пером умный не полезет, если его предупредить насчет непокою. Словом, у кого бывает сказка, а у кого нет...

Сомнительно, чтобы до многих в классе вполне дошла

романтическая речь учительницы, и Прохор Ильич сочувственно понял ее слабость: она тоже мало заботилась об уровне слушателей и о воздействии своих слов, довольствуясь вниманием нескольких умников. Впрочем, вряд ли она могла позволять себе такую роскошь на каждом уроке. Не возникла ли эта милая импровизация отчасти благодаря его присутствию?.. Они вышли из школы вместе, щурясь от яркого зимнего солнца. В своей красной шубке, в сапожках на высоких каблуках Светлана Леонидовна оказалась немного ниже Меньшутина, хотя, увидев их врозь, можно было подумать, что она выше ростом.

— Это существенная мысль: насчет благополучного конца, — говорил Прохор Ильич. — Если б всегда заранее знать, что все хорошо кончится! Как-то я рассказывал Зоюшке гриммовскую сказку про заколдованного принца. Помните, как после поцелуя девочки с него спадает медвежья шкура? Так знаете, что она меня спросила: а шкура после превращения не исчезнет, тоже останется? Деловой расчет: отчего бы немного не потерпеть, если потом не только вернешь свой облик, но заполучишь невесту — да еще отличную медвежью шкуру вприбавок?

— Неужели Зоя так спросила? — взглянула на него сбоку Светлана Леонидовна.

— А что? Думаете, не похоже на нее? — смутился Меньшутин. — Да, пожалуй, вы правы. Я сам подумал: не могла она так сказать.

Учительница еще раз взглянула на него и, качнув головой, засмеялась.

— Я смотрю, вы стоите друг друга.

— Наследственность, — охотно повторил Прохор Ильич. — Я очень люблю сказки. Но с некоторых пор мне до смешного хочется проникнуть за занавесочку их фантастики, расшифровать их неполноту. Останется шкура или нет? Куда она девается? Окажись я в спектакле режиссером мизансцены — мне ведь надо ее решать. У меня, знаете ли, было одно сумасшествие: я хотел поставить сказку. Сказку о Золушке. И чем серьезней я о ней думал, тем большей требовала она от меня полноты. Что за девочка была эта Золушка? Давно ли она осталась без матери? Что с ней стало после того, как она вышла за своего принца и сама родила детей?.. Ведь тут, может, только и начинается сказка о Золушке! Я в свое время прочел на эту тему все, что мне было доступно. В американском фольклоре аналогичный персонаж называется Эш-бой, это

мужчина. Не знаю, для меня это сказка о женщине. О терпении и доброте. О вознагражденном унижении. О чуде превращения. Она была Золушкой, пока в нее не влюбился принц, — так же, как принц оставался медведем, пока его не полюбили... Вот она где, фантастика, вот где чудо! А фея могла оказаться просто соседской девчонкой или старухой, которая носила ей любовные записки... Ха-ха-ха, — Меньшутин засмеялся, довольный своей выдумкой, возможно только что пришедшей ему на ум. — И едва ли не главное: это сказка о силе воображения, которое способно властвовать над жизнью не меньше, чем силы природы. Остальное второстепенно: атрибуты, декорации. Можно все пустить в современных костюмах. Коридор во дворце, на дверях табличка: «Король», окошечко, где министры получают зарплату пожалуйста. И не лишать исполнителей права на импровизацию. Ведь сказка не заботится о деталях. Почему Золушка ласкова с мачехой и сестрами? Может, она жалеет их, а сама просто предпочитает оставаться Золушкой: ей совестно, что она красивее и счастливее сестер? Она сама отдает им свои лучшие платья, потому что видит: для них это важно. А для нее нет — она и без того счастлива и страдает только от сознания чужого несчастья. А? А сестры в ответ ненавидят ее, им в этом видится высокомерие — и не совсем без основания, как вы думаете? Они ей говорят: «Ты не представляешь, как оскорбительно твое великодушие». Вообще все второстепенные лица, все статисты — кто они? У каждого не может не быть своей жизни. Принц — кто он? Я пока не вижу его лица. Совершенно не вижу. А отец Золушки? Где-то я прочел, что он был лесник. Не знаю, не знаю. Почему лесник? А вдруг он шут при дворце, продувная бестия и сам из-за кулис подталкивает принца к своей дочери?.. Я бы отдал несколько лет жизни, чтобы увидеть наконец, как у них все это получится. Пытаешься вообразить — и разбухает голова; мне хочется вместить сюда всю полноту... всю полноту жизни. Моя вечная беда в том, что я утопаю в чрезмерном замысле, в этом стремлении все охватить. Жизнь сама внесет уточнения, но сердцевинка должна быть разработана мной... Что у нее за мачеха? Почему непременно старая карга? А вдруг молодая современная женщина вроде вас? И у нее с падчерицей даже своеобразное соперничество? А? Вы б не взялись сыграть в моей самодеятельности такую роль?

— Взялась бы, — ответила Светлана Леонидовна так

серьезно, что Меньшутин в неловкости поспешил забить отбой.

— О господи, не слушайте меня. Я вас совсем заговорил, простите. У каждого бывает свое сумасшествие. Когда такой ненормальный садится на своего конька, ему кажется, что это всем интересно. — От долгого и возбужденного разговора на ходу Меньшутин слегка задыхался и сейчас вынужден был глубоко вбирать в грудь воздух. — Не знаю, осуществится ли это когда-нибудь вообще. Но, слушая вас сегодня, я почему-то подумал: вы могли бы интересно сыграть роль мачехи. Вы чувствуете сказку, вы способны довериться ей, проникнуть в нее по-своему.

— Только торопитесь тогда, — улыбнулась учительница, — к концу июля я отсюда уезжаю. Я работаю здесь последний год.

— Ах, черт... может, до того времени... Вы все-таки не слушайте меня. Но если я вас не очень напугал, заходите как-нибудь к нам с Зоей. Не ради этого бредового спектакля, упаси бог!.. я просто буду рад с вами увидеться.

Так они познакомились, а через несколько дней Светлана Леонидовна сама наведалась в дом на краю города. Этот вечерний визит был сразу отмечен соседями; когда же он повторился еще раз, в их среде начались естественные пересуды; приход молодой красивой женщины к далеко не старому вдовцу вряд ли можно было истолковать как простое посещение классной руководительницей своей ученицы для ознакомления с ее бытовыми условиями. Особенно если такие визиты становились постоянными. Конечно, Светлана Леонидовна мало с этим считалась. После одиноких зимних вечеров в тихом шоферском доме ей оказалось сверх ожиданий интересно бывать у Меньшутина, слушать его необычные речи, рассматривать фигурки из корней и веток, собранных когда-то Зоей.

— Тоже, знаете ли, творчество, — комментировал Прохор Ильич. — Увидеть художественный образ в природе, даже в каких-нибудь разводах на штукатурке, — значит уже создать, сочинить его. Каждый видит в меру своей гениальности. Зритель ведь тоже может быть гениален. Разглядеть в такой коряге дракона — значит придать ей форму, смысл — еще до того, как придется что-то обрезать, подправить. Обрезать — это уж кто как умеет. Это забота профессионала... Вы видите, я с ходу раскрываю перед

вами все свои слабости. Одна из них: страсть потеоретизировать на тему искусства. Все-таки я когда-то имел к нему отношение... Мне иногда представляется, что главный смысл, главная задача искусства, да и жизни вообще, в разных ее проявлениях: в этике, в технике — придание формы, то есть внесение в мир структуры, преодоление бесформенного хаоса, сопротивление энтропии, понятой широко. Существуют два взгляда на хаос и порядок. Один, манихейский, говорит о борьбе этих двух начал, борьбе Ормузда и Аримана, добра и зла; человек выбирает одно или другое, становится на чью-то сторону. Другой объявляет хаос просто отсутствием порядка; это еще не упорядоченный мир. Так вот мне ближе второй взгляд. Искусство помогает преодолевать энтропию, придавая оформленность нашему существованию. И не только в отгороженной области, где мы специально им занимаемся. Им давно пропитана вся жизнь, мы подчиняемся его формулам больше, чем сами подозреваем, мы волей-неволей вписываемся в его схемы, в его сюжеты. Те, кто сознают это и помогают родиться форме, — те уже профессионалы... Вот погодите, зазеленеет листва, я свожу вас в лес, там у нас с Зоей есть одна полянка... мы пробуем фантазировать с живыми деревьями, не с отломками. Если вам, конечно, интересно.

— Мне очень интересно.

— Честное слово?

— Честное слово...

Зоя тем временем согревала им чай, ставила на стол варенье, принесенное тетей Пашей; сама тетя Паша, навострив слух, сидела в соседней комнате; убедившись, что ничего интересного ей и на этот раз не услышать, она позволяла себе заснуть. Прохор Ильич провожал учительницу домой. Воздух был уже насыщен арбузной оттепельной влагой, в канавах журчала подснежная вода. Все-таки время идет не так уж медленно, думал Прохор Ильич. С некоторых пор даже быстро. Хорошо бы еще быстрее... По дороге он обычно молчал, зато становилась разговорчивей Светлана Леонидовна — она точно пугалась возможной паузы и все рассказывала о каких-то школьных происшествиях, о стычках в учительской; смешок ее бывал возбужден и необязателен.

Когда Прохор Ильич возвращался к себе, тетя Паша встречала его уже у дверей; спросонья она запаздывала прикрыть рот, и оба ее клыка были весело оскалены.

— Хороша? — подмигивала она.

— Хороша, — соглашался Меньшутин.

— Так чего ж ты зелени дожидаться? — говорила тетя Паша. — И так весна, смотри... — И вздыхала уже озабоченно: — Ой, беда моя! Прямо не знаю. Я, слышь, думала сейчас что хорошее увидеть — а приснилась каша с тараканами. К чему бы?..

Как-то в конце мая они со Светланой Леонидовной действительно пошли в лес. Начинались сумерки; воробьи купались в теплой вечерней пыли, выплескивая крыльями ямочки. В майских вишнях летали белые ночные бабочки. Среди темной зелени светились электрические гроздья сирени. Тихий воздух был настоян на мирном жужжании майских жуков; мальчишки, подпрыгивая, сбивали их кепками. Они шли вдоль заборов по пружинистым мосткам, невидимые взгляды провожали их до самой опушки. Пятнистая собака увязалась за ними и вдруг, поравнявшись, задумала потереться свалывшейся, в колючках, шерстью о ноги учительницы. Светлана Леонидовна вскрикнула.

— Не бойтесь, — сказал Меньшутин. И добавил для собаки: — А ты, невежа, мог бы догадаться, что так не делают. Лес, темнота — разве можно так неожиданно?

— Это ваша собака? — спросила учительница.

— Нет, бродячая. Вы же знаете, их тут полно.

— Обычно они сторонятся людей. И уж не трутся об ноги.

— За мной всегда теперь увязываются. Добро если одна, а то целым десятком. Меня тут все собаки знают.

— Но подошла она ко мне.

— Вы со мной. И она чувствует, как я к вам отношусь. Собаки такие вещи чувствуют куда тоньше людей. Они ведь слов не понимают, зато наострились на интонации, оттенки, неуловимые, как запах следа... Когда-то я разобрался в их языке. Сам умел говорить.

Учительница засмеялась.

— Лаять?

— И лаять, и много чего еще. У меня получалось даже лучше, чем у них. Все-таки я артист, а они в основном — рядовые твари. Просто стало неинтересно.

— Вы шутите? — решила на этот раз уточнить Светлана Леонидовна.

Меньшутин не ответил.

— Хорошо, что сейчас сумерки, — сказал он, — и вас не видит с этой собакой один наблюдательный человек. А то не знаю, что бы он о вас подумал.

— Почему? — не поняла учительница.

— У него болезненный интерес к черным собакам с рыжими пятнами, — уклончиво ответил Прохор Ильич. — А их в городе уже шесть, и все похожи друг на друга. Родственницы.

— Не только собаки вас знают, но и вы их, — улыбнулась Светлана Леонидовна с неловкостью от странного поворота разговора.

Меньшутин хмыкнул в ответ. Они шли по лесу; призрачные березы вдоль тропинки перебежали, прятались друг за друга. Сумерки почти совсем сгустились, в небе вспыхивали слабые, как далекие автогенные вспышки, зарницы. Приблудный пес по-прежнему трусил следом, иногда обгонял их, скрывался за придорожными кустами, потом выныривал у самых ног. Вдруг он метнулся вперед и замер, превратившись в куст.

Но куст этот был собакой. Она застыла на небольшой поляне, словно перехваченная в самом начале прыжка чьим-то мановением, среди подступающих отовсюду теней, громадных и приземистых, с корявыми руками и щупальцами, многоголовых и безглазых или прикрывших глаза, чтобы не выдать их блеска пришлому взгляду: лишь бледное немое миганье зарниц, и ни звука, ни шороха, в приторном оцепенении — а отвернись только...

— Видите? — шепнул Меньшутин.

— Вижу, — ответила она тоже шепотом.

— Занятно?

— Мне что-то не по себе. Пойдемте скорей отсюда.

Меньшутину показалось, что ее знобит; он поспешно снял пиджак, накинул ей на плечи и поскорее заговорил о другом.

— Какой-то вздор выходит... никогда не знаешь, что у тебя получится... Хотите я расскажу вам про свой нос? Думаете, я с такой шишкой и родился? Нет, у меня был обычный ровненький нос, немного курносый. И вот эта курносость мне в детстве не нравилась. Я тогда мечтал стать путешественником, а в какой-то книге мне попала фраза про волевое лицо настоящего капитана; признаком этого волевого лица был объявлен мужественный, выпирающий вперед подбородок и столь же мужественный

прямой нос. Я решил исправить свою неволевою физиономию, прежде всего нос. Мне было тогда двенадцать лет, как сейчас помню. Стоило мне уединиться, я отжимал пальцем кончик носа книзу и еще прижимал с боков и так держал час, два — сколько удавалось. За чтением, в кровати, перед тем как заснуть. Результатов особых не было, нос возвращался в прежнее состояние, едва я его отпускал. Только краснел. Тогда я решил, что надо закрепить отжим воздействием высокой температуры. Почему-то мне взбрело в голову, что это размягчит ткань, и она приобретет способность сохранять форму. Двенадцать лет! Я тайком достал утюг, не электрический, тогда их не было — на углях; постарался, чтоб он был не очень горячий, хотя и не очень холодный, но рассчитать это было трудно, я сразу сжег кожу на носу. Словом, в конце концов добился-таки своего, нос стал другим — но видите каким? Клоунская дуля. Даже грима не надо. Ну, может, чуть-чуть подцветить. И вот я думаю иногда: а вдруг так и должно было быть? Вдруг это именно тот нос и то лицо, которые соответствуют моей натуре, — я лишь помог себе завершить образ? Вроде бы нечаянно. Но кто знает, насколько произвольно выбираем мы свою судьбу, характер, поступки? Может, мы всю жизнь только и узнаем, кто мы такие и чего мы, собственно, хотели еще тогда, когда вроде бы этого и не подозревали. Вот, вспоминая, лишь начинаешь об этом догадываться...

Учительница молчала. Они уже вышли из леса. Здесь было светлее. Оба шли рядом, не касаясь друг друга и глядя прямо перед собой.

— Я все ждала, когда вы опять заговорите со мной о своем спектакле, — сказала вдруг Светлана Леонидовна; голос ее после долгого молчания получился хрипловатым, и она сглотнула слюну.

— О, ну что вы... это же все так... стоит ли... — засуетился Меньшутин.

— Видно, вам придется обойтись без меня. После экзаменов я возвращаюсь в Ленинград.

— Да, да, — машинально проговорил он.

— Но если вы только захотите, — голос ее споткнулся, — если вы захотите, я останусь.

Они прошли еще два-три шага по волнующимся мосткам и, не сговариваясь, остановились. Меньшутин взял руку учительницы в свою, наклонился и поцеловал.

— Милая, милая Светлана Леонидовна! — произнес он

в искреннем порыве.— Милая женщина с королевской короной... Я кривоносый провинциал, вздорный больной шут, лысый неудачник,— он откинул с темени густую прядь, обнажая прикрытую обычно лысину — от лба до самой макушки.— Мог ли я мечтать, что ко мне снизойдет такая царственная юность... что она возвысит меня до себя. Вы не представляете, как возвысили меня своими словами! Но я не могу! — в голосе его прорвался почти стон.— Я не в силах объяснить вам... не вправе... но я не могу... да и не дай вам бог! Вам нельзя со мной связываться... вы меня еще не знаете.— И, желая шуткой смягчить горечь своих слов, добавил: — У вас бы не получилась роль мачехи, поверьте. И для вас это только лучше. Я не в силах вам этого объяснить... но я не могу...

Каким-то образом именно последние слова оказались известны в городе, и соседи утвердились во мнении, что Прохор Ильич утерял свою мужскую полноценность.

Через две недели, окончив занятия, Светлана Леонидовна покинула навсегда Нечайск и уехала в Ленинград.

А еще через месяц Меньшутин поразили всех, женившись на гардеробщице из своего дворца, женщине немногим младше себя и к тому же обремененной детьми, двумя дочками-близнецами.

8

Варвара Степановна жила у самого озера, на дальнем нижнем конце Нечайска, называемом Рыбьей слободой. В городке, где почти все знали друг друга, она числилась своего рода парией, ибо родила двух дочерей, не будучи замужем. Не то чтобы в Нечайске было на этот счет по-старинному строго, да и никогда не было, война же и послевоенные годы тем более приучили к пониманию и снисхождению. История Варвары Степановны была вполне рядовой: останавливался у них в доме заезжий техник-моторист, мужчина привлекательный, уверенный в себе, заговорил о женитьбе — может, и всерьез, она была тогда весьма недурна собой, с образованием,— ну а потом, как это бывает, исчез. И если общественное мнение избрало своей жертвой именно ее, то лишь потому, что Варвара Степановна сама не в меру ощущала себя опозоренной и предупреждала посторонние укоры собственной сокрушен-

ностью и приниженностью. Она в свое время бегала даже топиться на обрыв под монастырем — один из тех легендарных обрывов, какими славны многие уважающие себя водоемы: с преданиями о несчастных или обманутых влюбленных, бросавшихся с него вниз головой. В Нечайске этот обрыв был особенно коварен, с него вполне можно было соскользнуть и против воли. На счастье Варвары Степановны с озера в тот день дул такой сильный ветер, что сопротивление воздуха не позволило ей оторваться от опасного края. В ее собственных глазах, а стало быть, и на общий взгляд, усугублением вины почему-то казалось даже то, что она родила сразу двоих — как будто это удваивало степень ее греха. Вдобавок именно в тот год умерла ее мать, давно и неизлечимо хворающая; получалось, что именно дочкин позор свел ее в могилу, и Варвара Степановна сама, без приказа, наклонила голову и под этот укор.

В то же время такая предупредительная покорность общему мнению делала ее приятной и желанной для окружающих. Всякому льстило, что она с такой готовностью, согласно принимает и поучения, и советы, и упреки. Нравилась и та самоотверженность, с какой Варвара Степановна старалась поставить на ноги дочек, дать им образование; сама женщина грамотная, она, однако, не гнушалась никакой работой, даже мытьем полов в учреждениях, держала поросят и кур, носила в кошелке навоз, а также сено и просыпанное зерно, что всегда оставалось на площади после базарных дней, дом и дочек содержала в такой чистоте, что случайно залетевшая в комнату муха через полчаса умирала своей смертью от стерильности самого воздуха. О других бы все это говорили с похвалой, ее снисходительно одобряли: какая ни есть, но старается, ничего не скажешь. Таков уж был ее крест; она сама его для себя вытесала.

В год, когда на нее обратил внимание Менъшутин, это была серьезная сорокалетняя женщина с жиденьким узлом на макушке, но так все еще довольно привлекательная, только уж очень неуверенная в себе, конфузливая в разговоре. Оттого и оказалась к той поре на должности парии — гардеробщица во дворце, во время киносеансов была она также и билетершей. Работа была необременительная, приходившие на танцы сами вешали пальто на крючки и сами же снимали. Варвара Степановна сидела на стуле у загородки и, надев очки, всегда читала газету, журнал или

книгу. Она особенно старалась, чтобы Прохор Ильич видел ее читающей; это было желание понравиться — но не женское, а, так сказать, служебное; она уважала Прохора Ильича, потому что он был ее начальник и образованный человек, и ей хотелось показать, что она достойна работать под его руководством. «Вы видели, вчера в книжном магазине продавали «Теорию отражения в искусстве»? — заговаривала она, конфузясь, когда Меньшутин останавливался возле нее. — Вот, я начала читать. Интересно. Хотя и трудновато написано». Или, показывая ему газету: «Смотрите, комета опять появилась. Думали, она сгорела, а она опять появилась! Как вы считаете, может она столкнуться с Землей?» Прохора Ильича такие разговоры всегда приводили в замешательство, он, пожалуй, немного побаивался своей гардеробщицы, и она незаметно для себя изменила к нему отношение. В городе было несколько человек, с кем она чувствовала себя уверенно, потому что они сами оказались неуверенными перед ней; скажем, придурковатый пьянчужка Володя, которого она иногда пропускала без билета на сеанс, а за это использовала на посылках. Меньшутин оказался одним из таких — без специального умысла с ее стороны, по какому-то закону природы, который автоматически возмещает недостаток жидкости в одном сосуде увеличением ее объема в другом. Даже внимательность Меньшутина, преподнесшего ей Восьмого марта букетик искусственных цветов, приспустила его в глазах Варвары Степановны; это были все те же неувядаемые розы, вновь извлеченные ради торжественного случая на свет божий; Варвара Степановна вначале поразились, приняв их за живые, но когда взяла их в руки и шип искусственной красавицы уколол ее, она поразились еще больше и не смогла понять бессмысленной щедрости подарка. Нашел кому отдать такую роскошь!.. Всегда безотказная и исполнительная, она с некоторых пор стала позволять себе даже опоздания. Меньшутин ни слова ей не говорил. Когда же она не явилась однажды к началу сеанса на свой билетерский пост и Прохор Ильич, уже сам ставший проверять за нее билеты, попробовал ей сделать замечание, Варвара Степановна — неслыханное дело! — почти что надерзила ему:

— Ну, опоздала. Муку давали, я в очереди стояла. Сами же знаете, не каждый день бывает.

— Но ведь работа...

— Знаю, что работа. А что ж делать? Без муки сидеть? Попробовали бы сами с двумя дочками, да на сорок пять рублей.

И он стал бормотать что-то уступчивое: ну, конечно, конечно — чуть ли не извиняться. А через два дня огорошил Варвару Степановну предложением. Подошел, ероша волосы на затылке, и забормотал, испугав ее в первую минуту необычным голосом и взглядом. Основную часть его сбивчивой речи заняли подготовительные слова вроде: «Вы... только, разумеется, подумайте, сразу можете не отвечать... скажем, до завтра... я понимаю... и в случае чего не бойтесь, что обидите...» Он так долго и путано подгонял предисловие, что она не сразу поняла его мысль. Вернее, поняла, но не поверила. Это было для нее как снег на голову; потребуй он ответа сейчас же, она бы испуганно и виновато отступила: нет, что вы, как можно! Как-никак он был не чета ей, при всей своей минутной дерзости она это помнила, и поставь он ее на место, она тотчас бы прониклась к нему уважением. Он совершал опрометчивость, ей это было ясно: позвать себе на шею ее с двумя дочками... чудаческое благородство, что ли, оно не казалось даже вполне серьезным, совестно было им воспользоваться, — Варвара Степановна готова была, как шахматист, которому соперник подставил под удар ферзя, смущенно вернуть ход назад. Но суток оказалось достаточно, чтобы вспомнить: прежде всего надо было заботиться о дочках и их будущем, упускать случай тоже было нельзя. И еще до нее дошло, что за всем этим могла стоять просто преждевременная, осознанная вдруг старость — когда вовсе ничего не ищешь от другого, кроме возможности прислониться, убежать от внезапно испугавшего одиночества, кроме помощи в хозяйстве, в присмотре за ребенком или в болезни; конечно, так оно и было. На такую, как она, он мог положиться.

И все же, заяви Прохор Ильич на другой день, что он просто пошутил, она приняла бы это, может, даже с облегчением; она ведь вдобавок боялась, что о ней станут говорить как о хитрой ведьме, которая бог знает каким манером сумела охмурить простодушного вдовца-начальника; мысль о том, что такой поворот, напротив, заставит ее уважать, не приходила ей на ум. На другой день Меньшутин повторил свой вопрос, Варвара Степановна дала согласие и вскоре перевезла дочек, а также все свои пожитки в новый дом.

...Перед их переездом Прохор Ильич говорил Зое:

— Теперь у тебя будут старшие сестры. Ты должна принять их как старших. Уважать, слушаться. А если случится спор — уступать им. Им ведь пришлось жить без отца, а это, сама понимаешь, несладко. Счастливые и красивые должны быть великодушны и уступчивы. Им и так легче жить — не грех поделиться...

Худенькая девочка с чересчур большим для ее тонкого лица ртом, острыми плечиками и локтями, голенастая, как всегда, доверчиво смотрела ему в глаза; все, что говорил отец, было естественно, естественной была для нее и мысль о собственной красоте — все еще не слишком волновавшая; пожалуй, она туманней всех признавала значение предстоящей перемены и испытывала лишь благожелательное, хоть в то же время и настороженное любопытство к незнакомой конфузливой женщине и к тем, кого ей следовало называть теперь сестрами.

Близнецов Варвары Степановны звали Полина и Раиса. Это были опрятные зеленоглазые девочки с нежными белыми лицами и красными от домашней работы руками. По странному предрассудку Варвара Степановна стеснялась того, что у нее близнецы, и всячески старалась отдалить их сходство; она по-разному их одевала, хоть это было несподручно и выходило дороже, по-разному причесывала: Поле заплетала одну косичку, а Рае две; даже поила их молоком от разных коров, пасшихся на разных выгонах, чтобы отличие в химическом составе трав, преобразованное в молоке, а затем в организме дочерей, сделало их химически несхожими (все же не зря любила она читать умные книги!). В школе она попросила определить девочек в разные классы, а когда выяснилось, что Раечка немного близорука, поспешила и очки использовать для еще большего различия. К тому же Рая оказалась чуть поупитанней, Поля — похудощавей, спутать их было никак нельзя; поэтому всех так озадачило и раздосадовало, когда Зоя настойчиво стала называть Полю Раей и наоборот. Поправку она принимала недоверчиво, оглядывалась на отца, словно подозревая розыгрыш, но он подтверждал ошибку, и она смущалась. А через некоторое время сбивалась вновь — словно привыкнуть к этому для нее было так же трудно и неестественно, как называть стакан чашкой и наоборот. Варвару Степановну это порядком раздражало:

всякая путаница, связанная с близнецами, издавна была ей неприятна. Вообще же задуманное сближение между девочками не состоялось, они не испытывали друг к другу интереса, тем более что близнецы были на два года старше, младшая сестра с сонными, вечно припухшими глазами казалась им недоразвитой, а иногда просто чокнутой, и держались они врозь.

Варваре Степановне приходилось с падчерицей куда сложнее. Ее приводило в отчаяние Зоино безразличие ко всему: и к одежде, и к еде, она не умела беречь самых лучших обнов, ходила вечной замарашкой, а главное — оставалась непостижимо худой, хотя кормили ее не то что вровень с другими — куда старательней. Варвара Степановна специально выписывала из книг таблицы наиболее калорийной пищи, складывала 280 калорий гороха с 740 калориями свиного сала и 320 калориями сахара, дошла даже до того, что дополнила научные рецепты народными средствами, подсказываемыми ей со всех сторон: поила Зою растопленным сливочным маслом, давала ей пивные дрожжи и пробовала раздобыть таинственную траву летук, о которой знала понаслышке. Та поглощала все с бессловесным послушанием, и ничто не шло ей впрок. Больше всего Варвара Степановна боялась, что молва увидит в худобе падчерицы повод осудить ее как мачеху; несмотря на то что чувствовала она себя сейчас надежнее и внешне держалась даже не без чопорности, в душе ее по-прежнему силен был трепет перед общим мнением — и трепет не напрасный; все, чего она боялась, непременно на нее и обрушивалось. И бедное замужество ее считали результатом хитроумно рассчитанной интриги, строя на этот счет самые рискованные версии, и мачехой ее называли, и всякое лыко ставили ей в строку.

Прежде всех невзлюбила новую хозяйку тетя Паша, которую Варвара Степановна сразу же отвадила от дому. Помощь ее давно была не нужна, а уж теперь и подавно. Варвара Степановна очень выгодно продала старый дом (к тому времени из Нечайска уже не уезжали, напротив, население понемногу увеличивалось, и дома у озера ценились особенно высоко: сюда приезжали на лето порыбачить отпускники, было выгодно сдавать им комнаты). Большую часть выручки она отложила, на остальное купила теленка — вдобавок к двум пороссятам и дюжине кур; наняла плотников, приспособила ветхий сарай под хлев, спилила уже толстые деревца на участке, и дров от них

хватило потом на ползимы. Оголившийся участок она собственноручно вскопала, засадила овощами, заменила часть плодовых деревьев новыми саженцами, другую часть удобрила озерным плодородным илом и навозом, который каждый раз добросовестно носила с базара, так что уже следующим летом ожившие деревья дали урожай... Нет, никакая тетя Паша не была ей нужна, тем более что та держалась здесь слишком нагло, как у себя дома. И вообще, имея трех дочерей, стоило держать подальше от себя эту колдунью с издавна сомнительной репутацией. Словом, неприязнь их была взаимной; тетя Паша заранее не любила эту преемницу Анны Арсеньевны; она не выносила уже принесенных ею запахов: запахов воды, сырости, рыбьей чешуи, водорослей и ила, которыми была пропитана Рыбья слобода, но которые обычно не доходили сюда наверх, а теперь вторглись в запретные для них пределы; не любила она и обманчивого русалочьего холодка, исходившего от ее зеленоглазых дочек. В претензиях своих тетя Паша была непоследовательна: она присоединялась и к тем, кто упрекал Варвару Степановну за чистоплутьство и ханжество, и, как это ни удивительно, к тем, кто корил ее за незаконно прижитых детей; хозяйственность новой жены Менъшутина в пересудах изображалась как скупость; рассказывалось, например, что она до тех пор штопала свою кофту, пока все старые нити в ней не заменились новыми, а так как на штопку шла качественная английская шерсть, то кофта получилась лучше прежней, и Варвара выдавала ее за импортную; другие, напротив, соглашались признать кофту обновкой и не одобряли такой расточительности; тетя Паша поддакивала и тем и другим. Что делать, возраст брал свое, трудно было требовать от нее логики. Стоя на базаре со связкой грибов, она, как ближайшая соседка, шепеляво жужжала в уши кумушкам и про худобу падчерицы, и про то, как муж Варвары, Прохор Ильич, боится теперь ходить домой через калитку, лазит в заборную дыру, про то, что он совсем запил, чуть не каждый день наведывается в чайную; кумушки качали головами и соглашались на том, что мачеха — она и падчерице мачеха, и мужу не родня; с ней начнешь и в подворотню лазить.

Это и впрямь была беда. Началось с того, что Варвара Степановна перевезла с собой из старого дома собаку, редкой породистости добермана-пинчера по кличке Рэкс.

Голубой, ростом ей по пояс, с сильной сухой шеей, подтянутым животом и остро обрезанными ушами, пес способен был привести в трепет любого знатока собачьего экстерьера. Увы, на его же примере можно было бы подтвердить, как обманчива бывает внешность и как часто аристократическая стать сочетается с не менее аристократическим вырождением. Рэкса оставил Варваре Степановне квартировавший у нее рыбак-ленинградец; этот чудаки решил, что грех мучить такое животное в коммунальном жилище; к тому же у пса была странная слабость: он с детства оказался приучен есть только с ложки, и перевоспитать его до сих пор не удалось. Варвара Степановна легкомысленно решила, что добьется этого без труда: в первый же день она просто поставила перед Рэксом миску с мясом и больше к нему не подходила. Доберман-пинчер сидел рядом с миской двое суток, выл от голода, но до мяса не дотронулся. Варвара Степановна поняла, что так он просидит до самой смерти, и сдалась. А что ей было делать? Отдавать столь великолепного интеллигентного пса, каких ни у кого в Нечайске не было, показалось жалко; так и остался у нее Рэкс — для декорации. Он, казалось, и лаять не умел, только выл при звуках музыки, будь то радио или уличная гармошка, и было непонятно, означает ли этой вой удовольствие или наоборот.

И вот этот пес, которого можно было назвать псом только по внешности, это недоразумение рода собачьего, позорно убегавшее даже от кошки, обнаружил вдруг бешеную ярость против Прохора Ильича. Это было поразительно! При его появлении Рэкс так натягивал цепь, что грозил опрокинуть будку. Прохор Ильич вынужден был обходить его далеко стороной, а потом приспособил в заборе лаз и постепенно протоптал от него обходную тропку к крыльцу. Перемещать будку и тем более продавать собаку, как совсем уже было собралась расстроенная Варвара Степановна, он не захотел, рассудив, что рано или поздно Рэкс должен к нему привыкнуть. Так оно в конце концов и случилось — но слава-то, слава-то уже пошла!

И насчет чайной, преобразованной с недавних пор в ресторан «Озерный», тетя Паша, к сожалению, не преувеличивала. Меньшутин и прежде туда заглядывал, но от случая к случаю, теперь же грозил стать завсегдаем. Правда, держался он тихо и разве что один раз переполошил всех скандалом: стал с пьяными слезами на глазах кричать, что он болен и требует принять против себя меры;

его в тот раз быстро успокоили, и он, произнеся напоследок: «Я вас предупредил», — мирно уснул. Но при его зарботке такие загулы были для семьи весьма чувствительны. Старшим девочкам предстояло заканчивать школу, надо было посылать их учиться дальше, — Варвара Степановна поставила себе главной жизненной целью довести дочек до окончания института и не отступилась бы от этой цели ни за что на свете. Но когда Прохор Ильич в ответ на ее отчаянные сетования (он ее до крика доводил — а соседи-то опять слышали) предлагал забрать Зою из школы и устроить на работу: доучиться можно и в вечерней школе, — Варвара Степановна не соглашалась ни в какую. И так выходило, что Зоя во всем у нее падчерица; теперь еще ее на работу, а дочек — в институт? Прохор Ильич, опустив взгляд, осторожно уверял ее, что Зоя сама ничего не имеет против, у нее нет особого вкуса к учебе. Варвара Степановна качала головой и плакала.

— Меня и так все мачехой называют, — отирала она ладонью слезы. — Старшие, посмотришь — загляденье, а эта — как нарочно. Ну чем я виновата?..

Она была трогательна в такие минуты. Меньшутин неуверенно гладил ее вздрагивающие плечи.

— Ты ничем не виновата, — говорил он с внезапной нежностью. — Пусть себе говорят. Мачеха! Подумаешь! Зато какая мачеха! Я-то знаю...

Он гладил ее и утешал, понимая, что изменить тут ничего нельзя. Она была обречена; что бы она ни делала и как бы ни крутилась, ей суждено было теперь оставаться мачехой.

9

За пятнадцать лет своей жизни в Нечайске Прохор Ильич Меньшутин стал городской достопримечательностью — наряду с озером, костями первобытного человека, извлеченными из Гремячего оврага заезжей экспедицией, и сосной на высоком берегу, под которой стаивал, как утверждали энтузиасты местного краеведения, гостивший здесь поэт Плещеев, сочиняя свои знаменитые строки «Вперед без страха и сомненья...». Его все знали, с ним здоровались при встрече, когда он шел по главной улице в сопровождении эскорта собак, им гордились перед приезжими, про него рассказывали анекдоты — не всегда правдоподобные: вроде того, например, как он однажды бежал

за автобусом целую остановку, потому что не хватало пятака на полный билет; или как он просил у кого-нибудь трешку в долг, а когда ему с готовностью протягивали ее, отказывался: «Я просто хотел посмотреть, пользуюсь ли я еще у вас кредитом». Или как однажды по пути со станции он перепутал остановки с одним подвыпившим мужиком: слез вместо него в деревне, а мужик покатил в Нечайск. Или совсем уж вздор: будто вдоль дороги от ресторана к своему дому он разбросал несколько охапок сена, и, если впотьмах ему случалось оступиться или споткнуться, падал, как на заказ, всегда в мягкое, гордясь своей пронизательностью. Со временем ему стали приписывать даже истории, услышанные совсем в посторонних анекдотах или попросту вычитанные, а когда какой-нибудь приезжий, которому не без гордости рассказывали об этом достопримечательном человеке, с сомнением вспоминал, что слышал нечто похожее еще в Москве, нечайцы лишь больше еще восторгались: надо же, и до Москвы дошло! С известной осторожностью можно предположить, что в нескольких случаях Прохор Ильич действительно способствовал рождению анекдотов, которые потом разошлись по всей стране и даже дальше; но иным из жителей Нечайска, давно склонным подозревать, что у всех творений этого анонимного жанра есть какой-то один автор, соблазнительно было думать, будто именно им открылась наконец тайна этого авторства; после смерти Меншутина они без удивления заметили, что новых анекдотов уже не стало — только версии старых. Словом, человек этот в некотором смысле повлиял на дух и стиль города, усилив в нечайцах склонность и вкус к бескорыстному юмору.

Прохор Ильич за эти годы изменился, постарел, щеки обвисли, темнее стали мешки под глазами, головные боли усилились и стали возникать все чаще. У него появилась привычка ходить, заложив руки за спину, от этого он слегка наклонялся вперед, становясь чем-то похожим на хромого верблюда. Вдобавок он стал меньше следить за собой; правда, брился по-прежнему ежедневно, зато костюм, при всех стараниях Варвары Степановны, выглядел всегда жеваным, галстуки засаливались с непостижимой быстротой, на ногтях ежедневно обновлялись траурные обводы. Он перестал теперь прикрывать внушительную лысину на темени, длинные, чуть волнистые волосы спускались от макушки прямо на затылок, придавая ему

одновременно и артистически благородный и немного потешный вид. Как-то на базаре он купил трубку с резной головкой в виде ухмыляющейся физиономии Мефистофеля и ради нее пристрастился к курению; трубка была скверная, плохо тянула, постоянно гасла и обжигала губы, но ему она чем-то необъяснимо нравилась, и следопыт, желавший его найти, мог по стойкому запаху «Золотого руна» безошибочно отметить место, где Прохор Ильич задерживался хоть на минуту.

Рая и Поля тем временем разъехались по разным городам, где успешно поступили в институты — обе в педагогический, обе на биологические факультеты. Зоя работала в местной библиотеке и доучивалась в вечерней школе, — кажется, ей так и впрямь было не хуже. Сам Прохор Ильич все дольше начинал засиживаться в ресторане; работа во дворце двигалась как-то сама собой. Духовой оркестр постепенно преобразовался в эстрадный ансамбль, танцы шли теперь под самую современную музыку, к праздникам устраивались балы с призами за лучший костюм. До Нечайска дошло телевидение, и он вообще старался осовремениться; на Базарной площади появился новый кинотеатр «Спутник», деревянные мостки вдоль заборов сменялись тротуарами из бетонных блоков, вместо покойного золотаря с его Амуром ездила специальная машина с толстым ребристым шлангом, дорога от железнодорожной станции уже наполовину была готова, и предполагалось ускоренное ее завершение, так как в ближних окрестностях Нечайска геологи нашли залежи отменной белой глины, и считался решенным вопрос о постройке здесь фаянсового завода. Город предвкушал новую жизнь, намечалась решительная смена местного начальства, и Меньшутин ничего хорошего от этого для себя не ждал. Он пережил уже не одну такую смену, они всегда приносили ему неприятности и хлопоты — ему и городским собакам, которых каждое новое начальство стремилось искоренить; всякий раз его вызывали, устраивали нагоняй за безалаберность, грозили снять с работы; Прохор Ильич обещал все наладить — и действительно разворачивал бурную деятельность; вспышки его активности были связаны со сменами начальства, как с циклами природы. Но вспышка постепенно затухала, и все мало-помалу возвращалось на круги своя; спасшиеся от отстрела собаки плодились с интенсивностью, характерной для послевоенных периодов, Меньшутин вновь обживал свой столик в ресторане; фи-

лософски настроенному наблюдателю он мог бы напомнить щепку или лодку, что качается вверх-вниз на волнах, мощно мчащихся к берегу. Грозное начальство незаметно привыкало к симпатичному завклубом; для города он был человек легендарный, устроитель праздника, о котором в давние времена писала сама «Правда» (в воспоминаниях и молве это становилось уже и впрямь легендой с фантастическими подробностями; некоторые, например, готовы были спорить, что своими глазами видели фейерверк над озером). Пусть как-нибудь дотянет девять, восемь, семь лет до пенсии.

На этот раз новым районным хозяином оказался энергичный молодой человек, явившийся в Нечайск с твердой решимостью вытянуть район из трясины провинциальности и чуждый — уже из-за возраста — житейским сантиментам; он мало интересовался легендами, пьяница завклубом был ему ни к чему. Прохор Ильич понял, что ему оставлен последний шанс; натерпевшись страху, он постарался сочинить план особенно эффектных мероприятий, первым из которых должен был стать грандиозный бал-маскарад в честь окончания лета, а также премьера давно обещанного спектакля о Золушке.

За год до того он успел еще раз съездить в Москву; у знакомого пивного ларька в сквере ему встретился запаренный круглолицый человек с шишковатым носом и неровным страдальческим ртом, за руку он вел худенькую девочку лет двенадцати, спавшую на ходу. За кружкой жидковатого пива они разговорились, пофилософствовали о московской суете, вообще о суетности жизни и праве человека на игру, которая, независимо от наполнения, единственная способна придать смысл этому бесформенному месиву. Прохор Ильич с умудренной грустью слушал нервные горькие речи своего собеседника и удивлялся собственной невозмутимости. «Ничего, ко всему можно привыкнуть, — хотелось ему сказать успокоительно. — И к головной боли, и даже к сумасбродной мысли, что, может быть, ты повинен в смерти любимого человека, хотя дурная фантазия вкралась в мозг вроде бы помимо твоей воли и уж не отпустила, разъела его, как зараза. А теперь надо ее оправдать, довести до финала, и с блеском. Не зря же все было...» Но он ничего говорить не стал, потому что измученный его собеседник еще не вполне готов был к столь крайнему больному высокомерию, когда вину за стихийное несчастье приписываешь даже не действию

своему, а бесплотной предположительной ереси, непозволительной игре мысли — как будто она и впрямь обладает реальной ядовитостью...

Чаще всего в ту пору Меньшутина можно было увидеть в компании с художником Артемием Звенигородским, тем самым, что был взят когда-то на дополнительную ставку и с тех пор рисовал для дворца, а теперь и для кинотеатра, афиши, вообще оформлял в Нечайске всю наглядную агитацию. Это был поджарый желчный человек с длинным острым лицом, хрящеватым носом и тонкими бледными губами. Когда-то сразу после окончания художественного училища его призвали во флот, он плавал за границу, побывал даже в Париже и в разговоре пользовался любым случаем, чтобы с усмешкой вставить желаннейшую свою фразу: «А Париж мне не понравился». Судьбу, непостижимым образом забросившую его в Нечайск расписывать афиши, Звенигородский воспринимал как чью-то злую каверзу и жил с решимостью никогда не дать себя больше обмануть. Бесплатной живописью он со времен ученичества не занимался, зато делал по частным заказам таблички насчет злых собак (трешка за штуку новыми деньгами; особенно ценилось его умение изображать каждую собаку похоже); когда нечайская чайная была преобразована в ресторан, именно он нарисовал на торцовой стене в столичном стиле рыб, чаек, парусник и восходящее солнце. Единственный, кто соблазнил его однажды сделать работу задаром, был Меньшутин, и художник до сих пор не мог ему этого простить. Случилось это много лет назад, в самом начале их знакомства, после того как Прохор Ильич оказался однажды свидетелем спора в чайной: Звенигородский уверял, что собрал на днях ни много ни мало двести сорок два боровика в течение часа, а слушатели не верили. Причем сомневались не столько в том, что человек мог собрать такое количество, сколько в мелочах: дескать, у него и нет такой корзины, чтобы поместилось двести сорок два гриба, а если б и нашлась, ему не донести такую тяжесть (начинали подсчитывать, сколько могут весить двести сорок два боровика и сколько они займут места), сомневались, наконец, можно ли собрать такое количество за час — это выходило по четыре гриба в минуту, а ведь каждый нужно срезать, осмотреть... Художник весь пожелтел от бессилия; главное — ведь были эти грибы, ему потом

всю ночь снились лезущие из-под травы, из-под листьев, торчащие среди стволов ржаные шляпки; преувеличил он всего на две штуки, справедливо рассудив, что ровной цифре скорей не поверят, на часы же он просто не смотрел, но был убежден, что прошло тогда не более часа. И вот не верили! Никто — кроме Прохора Ильича; тот, едва подошел, с ходу опроверг все выкладки, пересчитал вес и место по-своему и не оставил ни у кого сомнения в безупречной правдивости Звенигородского. В благодарность художник пригласил завклубом посидеть за кружкой местного пива. Перед второй кружкой он, не удержавшись, предложил Меньшутину пари, что опорожнит ее за три секунды. Это был его проверенный и всем известный фокус, поддаться на него мог лишь простодушный новичок. Меньшутин, заинтересовавшись, достал свои часы-монету с секундомером, художник проглотил пиво за две с половиной секунды и получил свой выигрыш — еще полдюжины кружек. Вот тогда-то, размягченный выпитым, а также некоторой симпатией к попавшемуся на его трюк человеку, Звенигородский и принял предложение нарисовать эскизы к самодеятельному спектаклю о Золушке. Впоследствии он сам толком не мог понять, как это получилось; Меньшутин сумел сказать что-то очень лестное о его бросающейся в глаза интеллигентности, которая, несомненно, могла бы себя проявить в чем-то большем, нежели в собачьих портретах, о его подспудном аристократизме — здесь было вставлено замечание насчет княжеского происхождения фамилии Звенигородских, одна из вотчин которых находилась, между прочим, именно в Нечайске: здание нынешнего райисполкома с фронтоном и четырьмя колоннами было прежде их особняком (в дальнейшем Прохор Ильич именовал художника не иначе как «князь»). Но удивительней всего — тот сам испытал вдруг порыв, какого с ним не случалось с юности; в ту же ночь он сел рисовать и сделал двадцать два листа эскизов, которые Меньшутин во всеуслышание назвал гениальными; он повторял этот отзыв неоднократно, хотя листы сразу спрятал и никому их не показывал, даже самому художнику. С тех пор мысль об этих работах вызывала каждый раз у Звенигородского прилив желчи; он хотел взглянуть на них еще раз, чтобы убедиться, таковы ли они в самом деле, как о них говорит Меньшутин, — и боялся этого; пока их не существовало, он мог внушать другим и сам себе мысль о своих непроявленных способностях — непроявленных отчасти из-за

собственного снобизма, отчасти из-за внешних причин. Одну из этих причин намеком подсказал сам же Меньшутин: происхождение, княжеская фамилия — вот что на нем висело, вот был рок, слепо тянувший его в Нечайск; Звенигородскому казалось, что он всегда это чувствовал. Теперь же двадцать два листа, спрятанные где-то в ящике у хромого болтуна и неизвестно когда собиравшиеся вынырнуть на свет, могли в любую минуту подтвердить это построение — но могли и превратить его в кучу мусора; уму было непостижимо, как дернуло Артемия Звенигородского на такую нелепость — да еще ко всему ни за грош, за сомнительное спасибо! Между ним и завклубом установилась странная связь; со временем они стали собутельниками, и неизбывная желчность, иссушавшая художника, несмотря на обилие выпиваемой жидкости, имела теперь благодатную мишень для язвительных уколов, злых выходок и розыгрышей — но ничто не давало окончательной разрядки, мстительного удовлетворения. Меньшутин терпеливо сносил любые подковырки, поддавался на самые дурные розыгрыши, с любопытством принимал заведомо проигрышные пари, которые изобретал для него Звенигородский, и лишь однажды, воспользовавшись азартной неосторожностью князя, ответил уколом на укол. Случилось это после очередного пари, сочиненного художником и ставшего позднее известным далеко за пределами Нечайска. Звенигородский объявил в ресторане, что станет рядом с Меньшутинным на один лист газеты и тот при всем желании не сможет не то что столкнуть его, но даже к нему прикоснуться. Проигравший должен был тут же при всех громко спеть песню «Я люблю тебя, жизнь». Получив согласие, художник расстелил газету на входном пороге, предложил Меньшутину стать на лист по одну сторону, сам, плотно закрыв дверь, стал по другую — и через минуту под общий смех выслушал песню побежденного. Вот тогда-то, едва они вышли на площадь, Меньшутин внезапно предложил ответный спор (как выяснилось потом, это была давно известная шутка, что особенно уязвило Звенигородского). Он заявил, что, если князь не откажется залезть под стол — тут же, в торговом ряду, — он сам — и исключительно по своей воле — выскочит из-под него прежде, чем Меньшутин успеет трижды хлопнуть ладонью по столешнице. Художник с усмешечкой начал было примерять подвохи: не будут ли эти хлопки иметь какой-то болезненной силы, не станут ли

его толкать или, скажем, натравливать собак — и тому подобное. Наконец, подзадориваемый свидетелями, к тому же предположив, что все это блеф, он согласился спорить на десятку. Расстелив на земле свою газетку, он залез под стол, где обычно торговали молоком. Прохор Ильич дважды легонько хлопнул по столешнице и пошел прочь.

Проще всего было тут же вылезти и отдать Меньшутину десятку, но художник медлил, обдумывая другой выход, и чем дольше он медлил, тем этот выход становился сомнительней, потому что вокруг стола собирался все новый народ. Дело было уже не в десятке, а в престиже. Князь пренебрежительно усмехался, на сухих щеках его играли желваки. Зрители обсуждали его упорство с сочувствием.

Кончилось тем, что всполошенная жена Звенигородского разыскала Меньшутину во дворце и предложила две десятки, чтоб он одну отдал мужу, но хлопнул, наконец, третий раз. Прохор Ильич забормотал, что сам готов отказаться от выигрыша перед лицом такой самоотверженной стойкости, но что интрига с поддавками может лишь больше уязвить князя. Должно быть, он сам же и подсказал женщине выход; вернувшись, она отозвала в сторонку одного из зрителей, и тот скоро принес из дому пилу-ножовку. Собравшиеся единогласно решили, что, если спилить ножки и отодвинуть стол, это не окажется для художника проигрышем и спор можно будет считать законченным вничью. Рыночный стол был длинный, о восьми ножках, художнику пришлось ждать долго. Наконец он смог выпрямиться и, ни слова не говоря, со слегка искривленной, но независимой своей усмешечкой засеменил к сарайчику за автобусной остановкой. Впоследствии Меньшутин сумел представить поведение Звенигородского в этой истории как проявление всегда присущей художникам способности пренебрегать общим мнением, эпатировать обывателя — здесь были употреблены слова об иронической независимости, насмешливом аристократизме и тому подобное; так что встречались они по-прежнему; желчная привязанность художника к своему безропотному приятелю стала лишь еще более прочной. Дошло до того, что в отместку за давнюю бесплатную работу князь счел себя вправе пить иной раз за счет Меньшутина, и Прохор Ильич это произнесенное право покорно за ним признал.

...Они сидели обычно за угловым столиком; прочный дух «Золотого руна» закреплял за ними это место. Отсюда был виден весь небольшой зал с белоснежными скатертями, с цветами или сосновыми ветками в вазочках; за их спиной простиралось живописное панно Звенигородского с рыбами и парусами; в окно можно было наблюдать сквер, где фланировали собаки, в ожидании подачи обмениваясь своими новостями: кто с кем гуляет, где что дают и не предполагается ли ближайшей ночью свадьбы с массовым шествием; здесь же пасся бездомный козел Вася, которого местные озорники приучили глотать опивки; захмелев, Вася выпрашивал у прохожих сигареты, тотчас их сжевывал, начинал неприлично блеять и приставать к женщинам.

Посетители тут все были знакомые, местные, если не считать редких командированных и проезжих шоферов. Однажды Прохор Ильич обратил внимание на новичка; появившись в зале, тот вдруг подмигнул Звенигородскому, словно старому знакомому. Это был совсем еще молодой парень, тоненький, белобрысый, в невероятных клешах с бубенцами и в рубашке с узором из карточных мастей. Он подсел четвертым к занятому столику, громко провозгласил: «Шампанского и семечек!» Официантка, уже, видно, знавшая его, принесла сто пятьдесят граммов водки и селедочный винегрет. Парень брезгливо осмотрел рюмку, вилку и потребовал принести чистые.

— Это что еще за бубновый валет? — спросил Меньшутин художника. — Ты что, его знаешь?

Тот подозрительно покосился на него, жуя капустный пирожок.

— А ты будто не знаешь?.. Ну! Юра Бешеный, помнишь, был такой парнишка? Сын золотаря?

— Ай-яй-яй! — поразился Прохор Ильич. — Юра! Не узнал! Убей меня бог, не узнал. Показалось что-то знакомое... вот теперь вижу. Но как его, однако, обмял возраст! Он вроде долго где-то пропадал?

— Ты что, всерьез не знаешь? — все еще недоверчиво удивился Звенигородский. — Он ведь под судом был.

— Ай-яй-яй... что ты говоришь? За что же?

— Темная история. Одни говорят, изнасилование, другие — просто девчонку какую-то прибил. Он тогда служил в армии, судили не здесь. Только тем и спасся, что признали больным. Вот на днях лишь из лечебницы вернулся.

— Господи! — страдальчески зажмурился Прохор

Ильич. — Я знал... я давно еще боялся, что тем и кончится. Я его знаю, знаю, я давно думал о нем. Он был когда-то влюблен в мою дочурку, смешно, трогательно. Два года, почти два года в таком возрасте, представь себе, князь, разве не трогательно? Такой был милый пацан. Стащил себе на память наш почтовый ящик. И от влюбленности расшиб ей лоб камнем. От влюбленности, вот ведь что! Господи, я готов рассказать эту историю с девушкой так, будто видел все сам. Я думал о нем. Это мальчик... ах, князь, это мальчик с нервами, которые натягиваются от дуновения воздуха. Он приближается к девушке, заранее уверенный, что она его оттолкнет, и оттолкнет оскорбительно. Он настолько в этом уверен, что подступает к ней так, будто она уже его оскорбила. Она его, естественно, отталкивает, и тогда может произойти все что угодно... Пока был мальчишкой, полбеда. Теперь все усугубилось возрастом, зрелостью... Ты посмотри, посмотри на него, — Меньшутин тронул за руку художника; тот с неясной усмешечкой все жевал свой пирожок. — Как он там развязно паясничает, забавляет чужую компанию, а в глазах-то, в глазах-то — загноанность!..

— Фантазируешь, дорогой, — хмыкнул Звенигородский. — Был он мальчиком, а сейчас — вон какой фрукт. Вылечился, именно: бубнового туза на спину не хватает. Он приходил ко мне проситься в помощники. Мне как раз нужен подручный, я тебе говорил: щиты мыть-белить, то да се. Посмотрел я на его наглость.

— И не взял?! — воскликнул Меньшутин. — Князь, князь, возьми! Неужели ты не понимаешь, что он пойдет за первым, кто скажет ему доброе слово, не смутившись всеми его гримасами и подмигиваниями? Как приласканный щенок пойдет. Девушкам — как это объяснить? От них тоже нельзя требовать слишком многого. Так и выходит замкнутый круг. Зоюшка-то моя про эту влюбленность так, кажется, и не догадалась. И я промолчал. Упаси бог. Ты ведь ее знаешь, она у меня... как бы это выразиться?..

— Дурочка, — подсказал Звенигородский.

— Ну, это ты зря... Но с ней и маленькой надо было быть осторожным. Впечатлительная... Беда людей в том, что их мыслительные токи настроены на разную частоту. Когда совпадает резонанс, возникает, как говорится, счастье. Если б кто-то мог подкрутить настроечку... этого человека стоило бы назвать большим мастером, а?.. Выпьем, князь, за него. За юношу и его удачу. Кто бы сумел ему

внушить, что он красив и умен, он достоин любой девушки, для нее это даже честь... я не шучу. Он ведь занимался у моей покойной жены музыкой, он талантлив... Что в него наверняка могут влюбиться, а может, кто-то уже и влюблен? И убедил бы его отказаться от этих гримас, от водки, которую он не умеет пить, от этих уродливых клешей с бубенцами, которые давно вышли из моды. Ах, князь, ты не представляешь себе, что может сделать с человеком простой изгиб мысли, воображения! — Прохор Ильич, казалось, все больше возбуждался и пьянел; Звенигородский слушал его со снисходительной гримасой на длинном сухом лице, но во взгляде его можно было заметить внимание. — Выпьем-ка еще, — предложил опять Меньшутин. — Ах, черт, графинчик-то пуст. Попросим добавить?

— Отчего бы и нет? За твой же счет.

— Не надо, князь, — сморщился Прохор Ильич.

— А что, не станешь угощать? — язвительно усмехнулся художник, тоже заметно хмельной. — Стерпишь. А я знаю, что стерпишь, и пользуюсь. Без стеснения. Я не стесняюсь, потому что мои убеждения позволяют мне быть практичным. А ты будешь терпеть, потому что такова твоя природная судьба.

— Не надо, — почти жалобно повторил Меньшутин.

— А почему мне не пользоваться? — куражился, все более заводя себя, князь. — Ты, если угодно, поощряешь меня на хамство. Значит, терпи. Хочешь, я скажу тебе, почему ты никогда ничего не добьешься? Потому что ты ничего не смыслишь в реальной жизни. Ты романтик. Что ты наплел про этого оболтуса?

— Князь, не говори банальностей, — покачал головой Прохор Ильич. — Ты всю жизнь говоришь банальности. Я знаю наперед каждое твое слово. Каждое слово. Я мог бы заранее написать на бумажке все, что ты сейчас произнесешь, и предъявить тебе.

— Вот как! — уязвленно проговорил Звенигородский.

— Хочешь, поспорим, что я угадаю наперед все твои фразы? За каждую угаданную — рубль.

— А если не угадаешь — трешку.

Меньшутин вместо ответа полез во внутренний карман пиджака, потом, как бы спохватясь, в нагрудный и извлек оттуда сложенный вчетверо клочок бумаги. Художник развернул его и прочел: «А если не угадаешь — трешку».

— С тебя уже рубль, — сказал Меньшутин.

— Во-первых, я еще не соглашался спорить,— хмыкнул князь, возвращая бумажку.

Меньшутин уже держал наготове другую. На ней стояло: «Во-первых, я еще не соглашался спорить».

— И не начинай, князь, проиграешь.

— Ты слишком в себе уверен.

Прохор Ильич без слов протянул ему третью бумажку. Звенигородский заглянул в нее и презрительно промолчал; что-то в голосе и взгляде Меньшутина заставило его сглотнуть приготовленные было слова.

— Упаси бог, князь, я не хочу тебя разорять. Если угодно, вот тебе заранее весь набор.

Прохор Ильич извлек из разных карманов две пригоршни скомканных бумажек; художник с брезгливым выражением стал распрямлять их по одной и читать: «Ты поощряешь меня на хамство», «Это палка о двух концах», «Прочитай бы тебя однажды», «Немного здоровой патологии тоже не помещает», «Не волосы красят женщину, а женщины красят волосы», «А Париж мне не понравился»...

Меньшутин сидел, тяжело наклоня голову, огромная лысина его поблескивала в свете лампы,— казалось, волосы у него спускаются на затылок прямо от верхушки разросшегося лба; углубленные бороздки над верхней губой и на подбородке были затенены, создавая впечатление вертикальных усиков и тоненькой эспаньолки.

— Не сердись на меня, князь,— сказал он после паузы.— Ты думаешь, что не уважаешь меня, и в этом твоя ошибка. Твое отношение ко мне надо бы определить другими словами, но — тсс! — не будем их произносить. Не будем. Запомни только мое предсказание: когда я умру, меня придет хоронить весь город. И на тебя будут показывать: вот человек, который помогал Прохору Меньшутину в его замыслах. Будут показывать, да. И ты будешь этим гордиться.

— Вот даже как!

— К сожалению, банальность не дает тебе выйти за рамки ампула. Но может, это и не к сожалению. Ты очень однозначен, князь. Ты из тех людей, кому достаточно дать нарезку, и они начнут в нее ввинчиваться. Не только твой разговор, но и действия можно предсказать на несколько ходов вперед. Я мог бы тебе сейчас сказать, что ты предпримешь завтра.

— Боюсь, на этот раз просчитаешься,— сказал художник, дохнув — Меньшутину в лицо теплым запахом капуст-

ных пирожков и водочного перегара; он еще не вполне успел среагировать на небывалую, вызывающую наглость своего собеседника — и только внутренне закипал, чувствуя, что даже трезвеет.

— Нет,— замотал головой Прохор Ильич.— Увы. По усмешке вижу. Потому и говорю с тобой. Ты, в сущности, страшный человек, князь... ишь как тебе это приятно. Да я еще почище. И все-таки слава богу, что пою тебе я, а не какой-нибудь, скажем, Бидюк... он ведь давно интересуется и родословной твоей, и Парижем; я отвлек... Или какой-нибудь там техник, который натравливает роботов радиоволнами, а то и вовсе газетными фокусами... сейчас ведь техника на грани фантастики, не то что у нас в провинции. Я, слава богу, человек несерьезный, я веду к веселью да празднику... Ты не сердись, князь Артемий, не надо. У меня в голове сейчас протуберанцы... протуберанцы и завихрения... лишку хватил... и оставим это. Закажем, право, еще. Не сердись.— Меньшутин заметно нервничал, даже пальцы подрагивали, и он никак не мог раскурить свою трубку; временами язык его заплетался, речь становилась темной, как будто он пробивался сквозь вязкое, пьяное, болезненное место, а потом вновь вылезал на поверхность.— Что-то мне не по себе. День сегодня такой... решительный. Меня опять вызывали,— он указал большим пальцем на потолок,— требуют. Как будто бал-маскарад можно подготовить за недельку-другую. Я его рассчитывал на Новый год... со скрежетом зубовным переносу. Не созрело еще, понимаешь... оскомины боюсь. Несколько бы месяцев еще. Но непредвиденные обстоятельства, приходится подгонять. Форсировать, как у нас говорят. А то мне и вовсе ничего не видать. Не стоило бы так... тревожно... да уж постараемся. И «Золушку» надо подводить к завершению... а у меня только-только подобрался состав. Поверишь: сегодня лишь нашел принца. Даже не нашел — узнал. Догадался, что нам всем на роду написано. Потому что нынешний год, князь, по достоверному старинному календарю приходится на созвездие Тельца и отмечен знаком бубен, что знаменует хороший урожай, рождение королевы и дружеский союз государств. Только не стоило бы меня торопить... ах, не стоило бы. В срок все бы вышло изящнее, плавней, без нажима. Ведь такую историю надо украсить по достоинству, просмаковать со вкусом каждую мелочь, каждый изгиб... не зря же я вынес такой путь. Это должен быть сладкий праздник, игра ду-

ши... Жизнь — театр, как говорят классики. А классики знают, что говорят... спасибо, милая... давай напоследок выпьем. За жизнь и, стало быть, за театр... Вот мы сидим с тобой, беседуем — и это прекрасно. Обведи нас в любой момент рамкой — пожалуйста, жанровая картинка в духе передвижников: «Собутыльники». Или: «Все в прошлом». Или, если угодно: «Заговорщики». Запиши наш диалог — можно вставить его в повесть, в трагикомическую повесть с темным концом. Сооруди вокруг нас рампу и сценическую коробку, посади напротив зрителей — и вот вам готовая сцена из занятого-занятого спектакля. Все дело в рамке, в рампе. И между нами говоря, это вздор. Одна теснота. Взгляд на мир — вот что главное. Ощущение формы. В любой момент. Хочешь, сделаем наоборот: обведем рамкой их. И что мы увидим? Мы увидим бледного мальчика в мутной дымной глубине... жабры его ходят ходуном, плавники дергаются, рот беззвучно растягивается, но все мы понимаем... да... всем ясно, о чем звенят бубенцы... о чем они звенят, когда не хватает дыхания. А трое гурманов пробуют его на вилочки, им это ужасно щекотно... даже до рта не доносят, бросают под стол шавкам. А мы глядим на этот бедный натюрморт... с бликами на граненом стекле... и можем, как зрители, его обсуждать. Покуда какая-нибудь из шавок не подойдет и у нас не попросит огрызка. Или, напротив, не укусит нас в ляжку. Тогда мы уже не зрители. Мы больше, чем зрители. Потому что из ляжки может пойти кровь, а это больно, князь, больно. И потому что знаем: этот несчастный юноша не пойдет отсюда разгримировываться, и нам это надрывает сердце...

Впоследствии, когда все стали крепки задним умом и навспоминали многое из того, что давно пора уже было заметить, Звенигородский уверял, будто именно тогда, за столом, его вдруг осенило и он обо всем уже догадался, все про Меншутина понял. На самом же деле художник был слишком пьян, чтобы делать выводы, хотя и сквозь собственный хмель он действительно отметил, до чего налился его приятель. Ибо за дальним столом, на который показывал Прохор Ильич, не было, конечно, ничего похожего ни на собак, ни на рыб (если не считать нарисованных), и окосевший паренек растягивал рот вовсе не беззвучно; несколько раз под общие смешки он начинал петь «Собака лаяла на дядю фрайера» — но язык плохо его слушался. Наконец официантка, строгая женщина лет

тридцати, предложила ему выйти освежиться. Внезапно юноша схватил ее руку и приник губами к полному, в ямочках, локтю — официантка едва сумела вырваться, заставив того пошатнуться вместе со стулом.

— Нализался, — презрительно сказала она. — Хоть бы губы отер.

— Не любишь, — скривился юноша; лицо его было совершенно белым. — Вот то-то... то-то...

— Артист... — туманно проговорил Звенигородский.

— Господи, что из этого будет? — тихо сказал Прохор Ильич; он с силой тер ладонью висок, будто преодолевал тяжкую головную боль. — Что из всего этого выйдет? — повторил он. — Ты нормально себя чувствуешь, князь? А? А меня вот что-то знобит.

10

Стоял конец июня — зрелая летняя пора, когда стручки на акациях уже затвердели и из них можно было делать свистульки; после короткого дождя над распаренной землей поднимался слабый, но душный медвяный запах одуванчиков; пахло крапивой, лопухами, разогретым огородом. В воздухе густо носились сухие тополиные снежинки, набегавший ветерок закручивал их на мостовой мягкой метелью, они оседали в канавах, у стен, вдоль заборов и, когда мальчишки подносили к ним зажженную спичку, вспыхивали мгновенным легким огнем. В один из таких дней вернулись домой на каникулы дочери Варвары Степановны. Приехали они врозь, одна за другой, и Варвара Степановна, увидев у калитки по очереди обеих, с одинаковыми легкими чемоданчиками в руках, в первый миг растерялась: ей показалось, что Раиса непонятно зачем решила подшутить над ней и подошла к калитке дважды. Все ее многолетние старания отдалить сходство между дочками оказались напрасными: находясь в разных городах, они сумели обзавестись одинаковыми зелеными юбочками выше колен, одинаковыми туфлями-шпильками и плащами-болоньями цвета навозного жука; обе коротко постриглись и покрасили волосы, не сговариваясь, в красноватый цвет хны, от обеих слабо пахло духами «Может быть», у обеих были очки с темными выпуклыми стеклами. Дело в том, что Полина в первый же месяц учебы оказалась вынуждена обратиться к окулисту, который сказал ей, что она давно нуждалась в очках и без них лишь ухудшила зрение; теперь единственным скрытым отличием ее от сестры было

то, что стекла она употребляла на диоптрию сильней. Даже выделявшая прежде Раю некоторая округлость сейчас сошла на нет, обе приехали из институтов одинаково похудевшие, обе стали заметно жестче, взрослее. Можно было себе представить, чего им стоило приобщиться к нормальной моде, располагая лишь стипендией в двадцать три рубля да скудными переводами из дома; если что-то здесь и удавалось, то прежде всего за счет еды и тончайших ухищрений, которые незачем и объяснять посторонним. Теперь, сидя друг против друга за празднично накрытым столом, разделенные блюдом с горкой свежеспеченных, сливочно-желтых плюшек, напоминавших букет чайных роз, они как бы заново всматривались друг в дружку, поблескивая друг дружке в стеклышки стеклышками своих очков и проникаясь ощущением своей новой близости. Это чувство усилилось, когда им удалось наконец уединиться на сухих разогретых бревнах за сараем и обе враз закурили болгарские сигареты «Солнце»; пока еще побаиваясь матери, они скрывали от нее новоприобретенное пристрастие, заглушая табачный дух зубным порошком и мятными леденцами. Не потребовалось долгого разговора, чтобы убедиться, как много у них общего — вплоть до воспоминаний и впечатлений проведенного врозь года. На своих факультетах они слушали схожие лекции, смотрели в кинотеатрах одни и те же фильмы, танцевали на вечерах ту же летку-енку и даже поцеловались с мальчиками впервые, как выяснилось, в один и тот же день под Новый год. У обеих были ухажеры, которые, кстати, должны были скоро приехать в Нечайск, чтобы вместе провести здесь лето, и о которых они говорили одинаково небрежно. Ироническая, немного злая трезвость отзывов — вот чем еще понравились они друг дружке. Напряжение, с каким давалось им в несытной студенческой жизни то, чем другие обладали по наследству, усилило в них ощущение обойденности, и повинны в ней были те, кто не сумел обеспечить им нормального существования, хоть сами здесь имели и румяные пышки, и ежедневный суп, и дачное приволье. Не склонные и прежде к сентиментальности, они сошлись на общем ироническом отношении к матери, они ее не уважали за то, что не сумела устроить свою, а следовательно, и их жизнь, и даже за то, что прижила двух незаконных детей; не уважали они и отчима, который был артистом в большом городе и скатился до Нечайска, да еще взвалил себе на шею чужую семью (от мысли, что эта семья и эти дети — они сами, обе как-то

отвлекались). Словом, девочки вполне успели осознать свою внутреннюю самостоятельность и особенность предстоящего им пути; с родителями они готовы были считаться, пока не могли окончательно без них обойтись.

Дома сестры скучали; под разными предлогами обе увиливали от работы в огороде, куда их неуверенно старалась вернуть мать, просто загорали на участке в пестренских купальниках, и Варвара Степановна каждый раз радовалась, любуясь очаровательной зрелостью девочек. Вечерами они ходили в кино, дважды попали на танцы в отцовский дворец, где на них сразу обратили особое внимание местные парни, прежние их приятели. Митька Пузиков, записной скоморох, смешивший их когда-то до колик своими шуточками, попробовал было подкатиться к ним с объятиями, приплясывая на ходу:

Ты откуда, кума?
Ты из кухни, кума?
Я не из кухни, кума,
Я из техникума,—

но они сразу поставили его на место; обе знали себе теперь иную цену, и были они не из техникума, а из института... Словом, обеим пришлось очень кстати, когда наметилось нечаянное развлечение.

В их саду стали вдруг происходить странные вещи. Один раз на пеньке у ворот появилась оставленная кем-то огромная охапка свежесрезанных георгин, другой раз кто-то содрал с калитки табличку насчет злой собаки,— Варвару Степановну особенно огорчила эта пропажа, она очень ценила выполненный Звенигородским портрет Рэкса. Исчезновение таблички обнаружилось в воскресенье, и за обеденным столом Варвара Степановна посетовала на склонность нынешней молодежи к бессмысленному, необъяснимому хулиганству. Прохор Ильич выслушал новость с неожиданным интересом и, улыбнувшись, рассказал ту давнюю историю с такой же странной пропажей, которая получила в свое время столь трогательное и столь безобидное объяснение. Все оглянулись на Зою; углубленная, как обычно, в какие-то свои мысли, она единственная не слышала слов отца и, увидев теперь на себе веселые взгляды, в замешательстве поперхнулась супом.

— Слышь, Зой,— со смехом похлопала ее по спине, успокаивая кашель, Раиса,— кто-то в тебя влюбился.

— Господи, и даже ясно кто! — немедленно подхватила Поля.

— Как мы сами раньше не догадались! — подтвердила Рая — с той способностью улавливать мысль сестры, которая так усилилась после недавней встречи.

— О чем вы говорите, девочки? — встревожилась Варвара Степановна и оглянулась за поддержкой на мужа; но тот раскладывал на скатерти стройные геометрические узоры из хлебных крошек и по-прежнему размягченно улыбался.

— Я, кстати, недавно встретил... — начал было он, однако девочки не дали ему договорить.

— То-то он каждый день ходит мимо нашего забора! — веселилась Поля.

— Я давно заметила.

— Да о ком вы, наконец? — совсем всполошилась Варвара Степановна.

— Как о ком? Неужели не обратила внимания? Костя Андронов, с Тургеневской.

— Что?.. — переспросил Прохор Ильич, внезапно меняясь в лице; если б сестры взглянули на него, они б догадались, что лучше им остановиться; но обе смотрели в эту минуту на Зою, она избавилась наконец от кашля и сидела, вся красная, со слезинками на глазах.

— Да саму Зоюшку спросите, — хохотнула Рая. — Он к ней и в библиотеку по пять раз на неделе наведывается...

Она не успела закончить, потому что Прохор Ильич, с лицом совершенно искаженным и потемневшим, внезапно грохнул кулаком по столу:

— Сейчас же прекратите... чушь... болтовню... чтоб я больше не слышал!.. Запрещаю произносить!.. — в голосе его что-то хрипело и клокотало; это было настолько неожиданно и настолько не похоже на него, что все оцепенели; геометрический узор из крошек, подпрыгнув, смешался в кучу, а стоявшее на краю стола блюдечко задрезжалось и упало на пол, разбрызгав широким фонтанчиком медленные белые осколки.

Этот крик был грубой ошибкой Прохора Ильича; он осознал ее прежде, чем замер звук его голоса, ибо побледневшие девочки действительно замолчали, но они поняли, что мимоходный для них шуточный розыгрыш, который они скорей всего сразу бы и забыли (тем более что на саму Зою он не произвел заметного впечатления), что его он взволновал далеко не на шутку, и теперь обе не собирались о нем забывать, как и о хриплом крике, и о потемневшем

лице, и о кулаке, грохнувшем по столу, и о медленном белом взрыве колючих фаянсовых осколков.

Костя Андронов был парнем, приметным в Нечайске, местным девчатам не надо было объяснять, кто это такой. Он недавно вернулся из армии, где служил радистом, ходил до сих пор в армейской гимнастерке и сапогах, работал в мастерской по ремонту приемников и телевизоров, и работа эта явно не утоляла полностью его жажды деятельности и страсти к технике. Он электрифицировал и автоматизировал не только свой дом, заставляя мать шархаться от самооткрывающихся дверей и вздрагивать от самозажигающихся лампочек и гудящих сигналов, но даже дома некоторых знакомых; замужней сестре, например, он сделал для новорожденного ребенка специальную систему, извещавшую о мокрых пеленках; действие ее было основано на том, что пеленки, намокнув, становились электропроводными и замыкали цепь слабого тока, включая мелодичный звонок; правда, одновременно принимался пищать и ребенок (возможно, ток был недостаточно слаб), так что сестра предпочитала обходиться без автоматики. Тетушке, жаловавшейся на бессонницу, он предложил наушники, способные особым равномерным гудением наводить дремоту, и они подействовали поразительно, несмотря на то что тетушка их даже никуда не включала, а просто клала под подушку. Прохор Ильич тоже знал Андронова — тот был первым трубачом в клубном оркестре и собирался оттуда уходить; с трудом уговорили его потерпеть до августовского карнавала. Кроме того, он играл полузащитником в городской футбольной команде и занимался в сети политпросвещения; удивительно, как у него на все хватало времени. Еще в армии Костя поставил себе задачей получить от жизни максимум пользы и впечатлений, приучился спать не более пяти часов в сутки и день свой расписывал до секунды; когда он, мускулистый, стремительный, пружинистый, проходил по улице, в нем чувствовалась звонкая упругость направленного в цель футбольного мяча — слышен был посвист раздвигаемого им воздуха. Это была новая кровь Нечайска, предвещавшая конец его провинциальности, его модернизированное будущее — с фаянсовым заводом, новым шоссе, техникумом — с современным стилем и темпом жизни. Девушки не могли не пленяться ровным овалом смуглого Костиного лица, его прямыми твердыми бровями, черным ежиком волос, влажнозубой

улыбкой; но пока что никто из них не мог похвастать особым его вниманием. Его видели иногда то с одной, то с другой — всегда очень недолго, не было у него времени углубляться в эти дела, да и не стоили они того, чтобы в них углубляться. Он заранее знал, что едва перевалит короткий миг высшего вдохновения, в голову его уже вползет мысль об отложенной накануне схеме с двумя добавочными конденсаторами и оригинальным блоком переключателя. Даже обижаться на него не стоило: он никому не хотел зла, а если и делал что-нибудь этакое — то сам не замечая, с добродушно-белозубой улыбкой, с непринужденной грацией, с какой жеребец, не замедляя упругого бега и поступательного цоканья копыт, роняет из-под хвоста крупные парные яблоки. Так что шутку сестер можно было бы назвать не такой уж безобидной, и Прохор Ильич вправе был разволноваться — если б Зою это и впрямь задело.

Впрочем, и задело по-своему. Зоя тоже знала Костю Андронова, он действительно приходил в библиотеку почти каждый день, брал сразу несколько книг — исключительно по технике и политическому самообразованию; расписавшись, одергивал армейскую гимнастерку и подмигивал: «Нажимай на все педали — вот наш девиз боевой!» Одним из воспитанных им в себе свойств была способность к скоростному чтению; но девушка этого не знала и удивлялась: неужто он успевает все прочесть? Намек сестер, что Костя ходит в библиотеку ради нее, показался ее невзрослому воображению вполне правдоподобным; мысль об этом вызывала неловкость и слабое ощущение вины, как будто она невольно причиняла неприятность, — так готова она была просить извинения, получив толчок во время игры. Молчаливая, с неуверенным голосом, напоминавшая все еще больше подростка, чем близкую к совершеннолетию девушку, она, слава богу, не догадывалась, да и не умела взглянуть на себя со стороны. На другой день Зоя опять увидела перед собой черный ежик Костиных волос, когда он наклонился, расписываясь в формуляре, и жалко улыбнулась в ответ его белозубой улыбке, которая была полна теперь печального смысла, — но больше ничего не смогла из себя выдавить. Она только пыталась выдержать эту улыбку, покуда губы не задрожали от напряжения, и мысль о неспособности к чувствам, известным понаслышке и из книг, впервые встревожила ее. Господи, подумала она, и ведь он давно так ходит! Она попробовала

вспомнить его визиты; оказалось, все они держались в памяти, как будто она нарочно старалась запечатлеть даже каждую взятую им книгу, каждую нескладную армейскую шуточку и четкий его голос с катышком смеха, отливавший гончарной коричневой глазурью; воспоминания эти беспокоили теперь, как попавшая в туфлю песчинка, но смысла этого беспокойства она бы не могла объяснить.

Библиотека ее находилась недалеко от дворца, в одном из монастырских жилищ; на работу и с работы она ходила всегда с отцом: последние дни он почему-то не спускал с нее глаз. Однажды, собравшись домой, Зоя сама зашла за ним и застала отца уже у выходных дверей вместе с художником Звенигородским. Он издали махнул ей рукой, попросил подождать, но в эту минуту кто-то окликнул его из окна второго этажа, срочно приглашая к телефону. Зоя осталась во дворе со Звенигородским.

— Как поживаете, барышня? — обратился тот к ней.

Зоя пожалала остреньким плечиком; на такие вопросы она не умела отвечать, да они и не требовали ответа; вообще они с художником никогда прежде не беседовали. Звенигородский, однако, был сейчас, как видно, в разговорчивом настроении.

— А мы тут все с ног сбились, готовимся к этому треклятому бал-маскараду. Вы уже придумали себе костюм?

— Нет. Меня папа не пускает... — ответила Зоя.

— Да что вы! — искренне забеспокоился художник. — Как так? Взрослая самостоятельная девушка... надо с ним поговорить. Танцы танцами, а такой бал бывает не каждый год. Может быть, раз в жизни. Все нечайские девчата волнуются, шьют, мастерят. Смотрите, какую готовим афишу.

Он кивком указал на щит у дальней стены; возле него хлопотал с кистью белокурый юноша в пестрой рубашке. Хотя он стоял спиной к ним, Зоя сразу его узнала.

— Знакомы? — отметил Звенигородский. — Помощником теперь у меня. Способный оказался парень. Единственный его недостаток — брезглив до ужаса. В жизни своей не видал таких чистюль. Обратите внимание: работает в перчатках. Если на него случайно капнет краска, бросит все и побежит умываться. Наследственный комплекс. Н-да... а он вас тоже помнит... очень даже. Георгий! — крикнул художник. — Обернись: кто к нам пришел! Во, видите, как посмотрел? — Звенигородский открыл в ухмылке зубы, похожие на рядок желтоватых фасолин; он успел после обеда перехватить пару кружечек и был на-

строен тем более игриво, что утром имел очередную задушевную беседу с новым подручным и считал себя вправе гордиться своей психологической тонкостью; в трезвом виде паренек оказался забавным птенчиком и краснел, как девушка. Правда, художник уже сам не так ясно, как казалось, представлял цель своего хитроумия; но пока ему было забавно. — Видели? — продолжал он балагурить. — Ничего вы не видели. Девушки в таких случаях слепы. Пardon, что я с вами на такую, так сказать, тему... пивца немного выпил, растрогался. Когда соприкасаешься с вашим возрастом, становишься сентиментальным. Хочется всех устроить счастливо. Обратите внимание, он сохранил способность краснеть, это много значит... Ты что мажешь посырому? — вдруг закричал художник. И добавил уже иным тоном: — Ладно, кончай на сегодня. Иди погуляй.

Юноша осторожно снял с каждого пальца по очереди жаркие вязаные перчатки и, оглянувшись еще раз, пошел умываться. В эту минуту из дверей вышел Прохор Ильич, исподлобья взглянул на Звенигородского, на Зою; лицо его было мрачным.

— Приходится мне задержаться, — сказал он дочери. — Звонили, комиссия из области едет. Иди домой одна... Ох, похоже, тучи собираются, — вздохнул он и поглядел на небо, где в самом деле набухало чернотой большое облако, так что фраза его прозвучала двусмысленно; он казался очень усталым и некоторое время еще стоял, зажмурив глаза и потирая пальцами висок.

Дождь начался, едва Зоя вошла в лес. Она сама не знала, почему свернула в ту сторону; а впрочем, знала: впереди на тропинке ей почудилась скрывшаяся за поворотом пестрая рубашка. Странное беспокойство тянуло ее вперед. Что за намек подбросил ей этот неприятный желчный человек с гнилой усмешечкой? Неужели и здесь о том же?.. Как ни туманна была шуточка, она упала на почву, уже слишком открытую и разрыхленную; ей было не по себе. Зачем спешила она теперь вслед за подручным художника? Уж не хотела ли удостовериться, прояснить что-то или, может, оправдаться? Это было бы смешно — и все-таки она шла, не думая, куда и зачем, томясь в безотчетном волнении, в нелепой уверенности, что сейчас что-то неизбежно должно произойти. День был душный; капли слабого дождя не проникали сквозь густую листву. Зоя сняла туфли и пошла босиком по влажной, в узловатых

корнях, тропинке; прохладная земля пружинила под ногами, она ощущала пятками отзвуки колебаний от шагов шедшего впереди человека, и это волновало, как живое прикосновение. На синем небе уже сияло солнце, а здесь запоздалые капли только лишь начинали падать на землю. Деревья издавали ясный очищенный запах. Некоторое время девушка старалась идти в такт отзвукам чужих шагов и вдруг почувствовала, что уже не слышит их — только свои. Она остановилась. Тропинка, раздваиваясь, сворачивала от озера вправо; это было то самое место, где за густыми зарослями скрывался ее заповедный уголок озера с обрывом над черным омутом; нити паутины отблескивали между ветвей, темно-серые крестовички сторожко замерли на них. Зоя поколебалась и без тропы вошла в заросли, стараясь не повредить радужной пряжи. Еще не добравшись до берега, она увидела привольную синеву озера, и у нее отчего-то забилось сердце. Солнце уже клонилось к западу, каждый лист на дереве, каждый стебель и цветок были четко прорисованы, белые облака, отраженные в воде, выглядели сгустившимися, тяжелыми и более реальными чем те, что на небе... Внезапно с высоты обрыва Зоя увидела в воде под собой что-то черное и круглое; это была голова купальщика. Девушка вздрогнула и замерла. Человек уже выходил из воды, роняя яркие капли. Она узнала его не сразу лишь потому, что минуту назад ждала увидеть другого... или нет; ей показалось, что именно это она только что предчувствовала, здесь был ответ и объяснение ее бьющегося сердца. Она не догадывалась — неспособна была — не только отпрянуть от края — даже отвернуться или закрыть глаза; неожиданность этого смуглого, мокро отблескивающего тела заворожила ее. Костя ее не видел. Насвистывая, он по-армейски быстро оделся, без тропинки взбежал вверх по откосу и исчез в ольшанике. Черная вода в омуте продолжала беспокойно колыхаться, волнуя у берега пленку до времени опавших листьев; это была особая вода, не такая, как в остальном озере, она хранила воспоминание о смуглом удивительном теле и, возможно, химически изменилась от соприкосновения с ним. Зоя чувствовала, что кожа ее покрылась мурашками. Она спустилась с обрыва и быстро разделась. Из-за своего здоровья она никогда еще не ступала в озеро и сейчас дрожала — но, пожалуй, не от страха и даже не от холода. Вода обожгла ей ступни. Холодный живой ил продавливался между пальцами. Девушка сделала шаг, другой, и по мере того,

как она погружалась в воду, обволакиваемая поднимавшимися со дна легкими щекочущими пузырьками, жгучая вода заново напоминала ей о существовании каждого сантиметра ее тела, заново заполняла его объем от щиколоток вверх по икрам и коленям — она заново формировала его: волнуяще заполнила впадину между бедер, поднялась до пупка; наклонившись, Зоя коснулась воды низом груди и легла на нее. Сколько времени это длилось, она не могла сказать — мгновения были растянуты, как во сне; она даже не думала о том, что не умеет плавать; вода держала ее тело, пока девушка не перестала ощущать его отдельно от себя. Потом она почувствовала, что ноги ее погружаются все глубже, не находя дна, она испуганно встrepенулась — и встала. Звенел воздух, гомонили птицы. Солнце обволакивало прозрачным паром ее покрытую пупырышками кожу, ей нечем было вытереться, она вся дрожала, и от этой дрожи ей хотелось засмеяться, но вместо смеха из горла вырвался чужой гортанный звук. Тогда она запела. Верней, это было не пение, а все тот же тихий дрожащий крик, как будто у нее прорезался новый голос — незнакомый, высокий, на пределе; казалось, она вот-вот сорвется — но так и вела на грани срыва и чувствовала, что не сорвется. Ею вообще овладело странное ощущение уверенности, что теперь произойдет именно то, чему закономерно суждено произойти в свой срок и чего она всегда безотчетно дожидалась; так может ощущать себя куколка, которой пришла пора превратиться в бабочку. Пришла пора, просто пришла пора; со стороны можно было чуть сдвинуть время или подробности, но главное определялось этими двумя словами, непреложными, как всякий закон природы...

Над озером исподволь накалялась радуга; широкая, яркая, она поджигала одним концом воду; край неба с облаком, попавшим в нее, сказочно светился. Маленькая лодочка плыла по горизонту ей навстречу, и девушка в щемящем восторге смотрела, как суденышко приближается к ослепительной расплывчатой кромке; потом оно прикоснулось к ней, вошло в нее, вспыхнуло и исчезло.

11

По временам ей казалось, будто она живет и движется в глубине прозрачного водоема, — так плотен и густ, не затрудняя при этом дыхания, был воздух, так замедленно было течение времени; каждая секунда его была расчленена и наполнена, каждый шаг — величественно растянут;

она различала поочередно скрип каждой песчинки — сначала под пяткой, потом под упругим сводом ступни и напоследок под пальцами, и каждая звучала на свой особый лад, создавая впечатление тончайшей музыки. Она видела неторопливые взмахи пчелиных крыльев, и плавный взлет мигнувших ресниц, она ощущала каждое шевеление своих мышц; однажды она подхватила выпавшую из рук Варвары Степановны тарелку и не могла понять, за что ее нахваляют, — не дожидаться же было, пока тарелка опустится на пол! Но не только нынешними мгновениями по-новому наполнялось время: вдруг вернулись из небытия движения, звуки, события, картины, которые хранились в самых темных ущельях памяти, а теперь заново всплывали, проявлялись для нее, приобретая первоначальный смысл: улыбка матери, обращенная к отцу, страницы давних книг, лишь сейчас по-настоящему понятые ею, весенний луг и черноголовый мальчик, сорвавший ей цветок для букета и засмеявшийся в ответ на ее благодарность, — она теперь совершенно отчетливо видела, что это был он, и он же отнял у нее когда-то майского жука, объявив всех жуков в воздухе своей собственностью, — она ведь знала его давным-давно, она видела его на танцах, когда сидела в комнате у радиолы с пластинками, наблюдая в приоткрытую дверь за топчущимися парами, и в отцовской самодеятельности, и на улице, когда он проезжал на велосипеде, лихо скрестив руки на груди; она провожала его теперь в мыслях ласковым взором и тут же замирала от смущения, как будто он вот сейчас мог взаправду заметить ее взгляд. Она вступала во владение вновь открывавшимися глубинами, с изумлением, а иногда с испугом и стыдом сознавая, что жизнь ее успела вместить куда больше, чем ей до сих пор представлялось. Она впервые оцепенела от страха, отпрянув перед едва не сбившей ее лошадью, которой в свое время как-то не успела испугаться, и вновь ощутила кислотоватый электрический укол от прикосновения белобрысого тонкого пацана, поняла, наконец, яростную гримасу его рта, услышала школьные шуточки: «У тебя ноги в пуху — поклонилась жениху» — и попросила у него прощение за свою неспособность ответить — тогдашнюю и, может быть, нынешнюю. Она и мачеху, казалось ей, впервые поняла по своему новому разумению: ее молодость, испуг и одиночество... У себя в библиотеке она вздрагивала каждый раз, когда открывалась дверь, мимо дворца пробегала поскорей, чтобы не встретиться с подручным Звени-

городского. Пока что ей это удавалось. Все, кто был занят подготовкой к балу, в библиотеке вообще перестали появляться — даже Костя; видно, и его Прохор Ильич загонял своими неистовыми репетициями. Он всех вокруг заразил каким-то взвинченным, восторженным ожиданием праздника — удивительно, почему его еще слушались; готовилось несчетное количество масок — едва ли не на весь Нечайск, нарезались мешки конфетти и километры серпантина. Даже Зоя вчуже волновалась, как будто ожидала от бала чего-то — какого-го разрешения, которого и хотела, и боялась; так хотела и боялась она встречи с Костей, лелея пока лишь мысли о нем, перебирая подробности воспоминаний, как перебирают нежно волосы на склоненной голове любимого. Невыносимое ожидание было все же прекрасно — ибо по условию задачи не существовало сомнения в счастливом конце. Да, Прохор Ильич не зря много лет назад назвал свою дочку счастливой; но если для бедной девочки и впрямь все обернулось в конце концов не худшим образом, то лишь потому, что не одним его сумасшествием держалась жизнь.

Даже те, кто видел в эти дни Зою дома каждое утро и каждый вечер, не могли не заметить внезапной и быстрой перемены, которая совершалась с ней буквально на глазах. Голос и тот у нее стал иным: выше и ясней; вздумай сейчас врач осмотреть ее горло, он не предъявил бы никаких претензий к ее миндалинам и вряд ли поверил бы, что это результат купания в ледяной воде. Щеки ее порозовели, обычная их худоба сменилась мягкой затененностью, глаза, и прежде большие, но всегда как бы сонно припухшие, сейчас распахнулись; очертания и линии тела стали незаметно смягчаться, округляться; исчезла подросточья угловатость, чуть полнее казалась грудь, чуть шире бедра. Она сама чувствовала, что каждая клетка ее беспокойно набухает, стремится раздвоиться в росте; все тело ее было наполнено словно брожением мельчайших пузырьков газа. Стоило ей лечь и закрыть глаза, как она чувствовала, будто все вокруг тотчас исчезает, — она уже не могла сказать, где сейчас стена, где небо, где земля, — легкое без измерений пространство, и в этом пространстве она занимала все больше места, расширялась, наконец, теряла ощущение собственного тела — и, чувствуя, что больше так не выдержит, открывала глаза. Сон ее был глубок и наполнен; утром она не сразу вспоминала, где находится. Голос Вар-

вары Степановны, пахнувший лавровым листом, возвращал ее к действительности; она вставала, начинала одеваться, но, натянув юбку через голову, могла машинально тут же снять ее через ноги, а потом по логике движений продолжить раздевание и опять лечь. Варвара Степановна получила от мужа указание не спускать с нее глаз; сам он с головой ушел в последние перед балом хлопоты, но по-прежнему собственнически, как когда-то в школу, провожал дочь на работу и с работы, даже заглядывал среди дня по нескольку раз в библиотеку, и впервые девушка ощутила, что это ее сковывает, хотя и не знала, на что смогла бы употребить свободу действий.

Одно в этой опеке было хорошо: сестры держались от нее на расстоянии. Впрочем, им было сейчас не до нее. Наконец-то прибыли в Нечайск их долгожданные дружки — порознь, без предупреждения, и первый из них, встретив у автобусной остановки Раю, с разгону принял ее за сестру. Та из внезапного озорства не стала его разубеждать: надо же было хоть раз в жизни использовать богом данное сходство! Поля до вечера согласилась поддержать игру; когда же вечером приехал второй, она и вовсе предложила сестре поменяться на время именами. Дело в том, что каждой приятель сестры понравился куда больше, чем собственный. Правда, оба они были чем-то очень похожи: высокие, интеллигентные, в очках, оба физики-третьекурсники, даже оба играли в волейбол за свои факультеты. Но так уж, видно, устроен человек: микроскопическая новизна придала всему иной отблеск, обострила свежесть их взгляда, по-особому защекотала ноздри. Впервые во вкусах сестер обнаружилась столь резкая разница, впервые они не могли понять, как другую угораздило не оценить такой внешности, такого ума, обаяния, остроумия, наконец. Обе знали друг о дружке достаточно, чтобы подмена не открылась, обе были довольны своей выдумкой и даже незаметно привыкли к новым именам (чтобы не сбиваться, они продолжали свою игру дома, вызвав недолгое замешательство матери, зато успокоив, слава богу, все еще недоверчивую Зою). Мысль окончательно поменяться паспортами, городами и институтами промелькнула пока лишь в виде шутки, но девушки были близки к соблазнительной и опасной догадке, что в этом мире все взаимозаменяемо и не стоит чрезмерной надсады и что лишь новизна и разнообразие способны на время развлечь. Приезжих сестры поселили у тети Паши; это было немного рискованно (от матери они пока

таились), но у студентов не было денег, а старуха единственная не брала за постой. Она совсем отяжелела, разбухла, почти не выходила из дома, днями сидела в старинном, когда-то роскошном кресле со следами обивки красного бархата и позолоты на резьбе, изображавшей плоды, цветы и виноградные листья; кресло громоздилось у холодной печки среди пустого чистого дома, беспризорные пчелы залетали к одряхлевшей повелительнице, чтобы прожужжать ей в уши свои немудреные, из года в год все те же новости. Сны у нее тоже теперь шли все старые, приходилось смотреть их повторно по нескольку раз, новых не было и, видно, не могло больше быть: за свою жизнь она успела исчерпать запасы. Своих постояльцев и их подружек старуха замечала только в редкие минуты бодрствования и сразу оживлялась; ей нравилось, что у этой соблазненной русалки с рыбьей кровью оказались такие понятные дочки. «Э, милые, я тоже, помню, хотела в монастырь податься,— невпопад принималась рассказывать она, непонятно что подразумевая под словечком «тоже» и уже не заботясь о том, чтобы прикрыть черный провал рта с двумя последними огрызками; но узкие глаза ее вновь обретали маслянистый блеск.— Так мать-покойница смеялась: быстра ты — в монастырь. Глянь на себя. Ты на снег сядешь, под тобой до земли протает». Глаз ее подмигивал, голова от смеха мелко-мелко тряслась, и старухе приходилось удерживать подбородок рукой. «А что ж Зоюшка заходить перестала?» — вспоминала она, выдавая нехитрый секрет своей любимицы, которая навещала ее иногда украдкой от мачехи. Известие, что девушку теперь никуда одну из дома не пускают, не открыло ей ничего нового, она всегда знала, что Варвара держит падчерицу в черном теле да взаперти. «На танцы, и то ей нельзя,— лукаво поддакивали сестры.— А ее, может, там ждут». Они все еще держали в уме свою шуточку — не зная, что она давно уже и сверх ожиданий достигла цели, но чувствуя, что строгости отчима связаны с нею. Ах, как бы они были не прочь подпустить ему шпильку! Этот бессмысленный человек, позволивший себе кричать на них, это посмешище города, с которым они почему-то должны были считаться, досаждал им уже самим своим существованием. Однажды Прохор Ильич едва не засек их, когда они выходили из тети Пашиной калитки; на счастье, он был пьян и проковылял мимо, не обернувшись...

Заглянув в конец истории, можно сказать, что они с

отчимом взаимно недооценили друг друга; при всей своей насмешливой трезвости сестры между делом исполняли, не подозревая, нехитрую роль, которую он использовал для своего замысла, и все-таки слишком они были себе на уме, чтобы скромно удержаться в ее пределах; Меньшутину, увы, пришлось еще в этом убедиться.

12

Ну, а третья, младшая, нелепая и трогательная дочь безумного своего отца, достойное творение Прохора Меньшутина, — она-то, обретшая новый голос и в считанные дни нагнавшая вдруг свой возраст — как некогда шальные часы в доме ее родителей наверстывали после спячки пропущенное время, — она-то хоть о чем-нибудь догадалась? Пожалуй, рано было бы назвать этим словом ту странную безотчетную уверенность в близком разрешении, которая чем дальше, тем все ясней усиливалась и достигла своей вершины в день или, верней, вечер бала. Варвара Степановна, уходящая во дворец последней, получила от мужа наказ смотреть за Зоей, а потом запереть дверь снаружи. Признаться, она не очень-то понимала, зачем такие строгости и почему нельзя было пустить девочку повеселиться вместе со всеми (не хватало им еще этих пересудов!); но муж повторил свои слова так резко, с таким нажимом, что она сама заразилась его нервностью и, уже спустившись с крыльца, вернулась проверить, хорошо ли держит замок. Смешон был этот замок при открытых окнах! Остывающий вечерний воздух шевелил на них тюлевые занавески, сухо, как сверчок, верещали маленькие часы, и этот звук вызывал у девушки знакомые мурашки по коже — мурашки волнения и ожидания. Она слонялась по гулким комнатам, останавливалась возле пианино, крышку которого после матери открывали только для того, чтобы протереть клавиши, пробовала нащупать какую-то нужную мелодию, хранившуюся не столько в сознательной памяти, сколько в бездумных шевелениях пальцев. Однако беспокойство не затихало, напротив, перерастало в дрожь. Было ли тут просто желание попасть во дворец? Предчувствие, что она попадет туда нынче? Может быть. Но не в окно же ей было бежать, не в сарафанчике же и босоножках! Странно было думать, что она просто хочет на танцы — впервые в жизни так хочет; она не собиралась ничего предпринимать, но словно чего-то ждала. Пальцы сами собой продолжали нажимать на клавиши, каждый удар

отдавался в пустых стенах... Неужели и в ее уме все-таки готова была оформиться несообразная, невозможная мысль — о мачехе и ее нарядных дочках, которые веселились сейчас на балу, и о себе, босоногой? Вряд ли; но если б такой намек дошел до ее сознания, она бы не усмехнулась его фантастичности; в глубине ее души всегда жила незрелая легкая готовность войти внутрь некоей истории и довериться ей; с возрастом она, правда, узнала, что сахар обычно не растет на кустах, но память о том, что однажды это произошло, скрытно хранилась в ней — вместе с зернышком допущения, что это может случиться опять. Каждый, если покопается, вспомнит за собой такое; дочери Менъшутина этой способности было не занимать. Она ничего не могла бы назвать словами. Но когда за спотыкающейся музыкой, за возбужденным шелестом часов возник вдруг еще какой-то непонятный волнующий звук, то нараставший, то затихавший — как будто сам воздух густо и сочно дрожал, — ей показалось, что этого-то она и ждала. Она замерла, прислушалась — и прежде, чем успела осознать над ухом внятное жужжание пчелы, прежде, чем оглянулась на дверь, она почему-то с несомненностью догадалась не только о том, кого увидит сейчас за спиной, но и о том, что же именно произойдет дальше и как все разрешится.

13

Сводчатый зал дворца распирало от музыки. Звуки выкатывались из медных раструбов дутыми раскаленными шарами, выпрыгивали мелким горохом из-под барабанных палочек, тонкими лентами змеились из горловин флейт — недолговечные, сменяющие одна другую фигуры наполняли горячий воздух, многократно отскакивали от стен и бесследно лопались, исчезали, а на их волнах, подбрасываемая разноцветными пузырями, запутанная густым серпантинном, металась под сводами случайная трясогузка, и дробные выстрелы ударника неумолимо подгоняли ее. Да, приближался вершинный час менъшутинского вдохновения. Без маски и в своем обычном костюме, но с намалеванными на щеках ярко-красными пятнами, в островерхой шапочке с погремушками, из-под которой выбивались седеющие кудри, в застегнутой у шеи короткой накидке из пестрых лоскутов он сновал среди месива танцующих, подстегивал оркестр, а то вдруг подхватывал за руку первого, кто попадался на пути, и, прихрамывая, подпрыгивая, поч-

ти бегом увлекал за собой цепочку хоровода; казалось, он силился один разогнать, раскрутить всех в какой-то хитроумной карусели. Невозможно было понять, как у него хватает дыхания и сердца, рот его был приоткрыт, белки глаз подернуты прожилками, он шумно вдыхал сгущенный воздух, но не давал себе передышки, словно для него было жизненно важно довести эту сутолоку до крайнего накала. Большой мозг его пылал. Боль была так ослепительна, что он уже не мог ее чувствовать, она заливала все тело бесплотной легкостью и, не уместаясь в черепе, заполняла пространство вокруг, упиралась в тяжелый свод, как в тесную каменную шапку: оркестр и его музыка, барабанная дробь и безумная трясогузка, русалки и лебеди, паяцы и сычи, медведи и лешачихи — все вмещалось в нее, подчинялось ей, пульсировало ей в такт. Танцуйте, танцуйте, складывалось среди этой боли, прыгайте, кружитесь, все это для вас, и то ли еще будет! Сегодня мы с вами сыграем, как вам не доводилось играть никогда в жизни и вряд ли еще доведется; много лет спустя вы вспомните головокружение от этого праздника. Не обессудьте, что втянул вас без спросу; право же, это не худшая из игр, в которые втягивают, не спросясь. Я никому не хочу вреда, я, если угодно, добр — но что же делать, что делать, почтеннейшая публика, если я не перевариваю сырой кашеобразной пицци, которой довольствуетесь вы? У меня от нее сыпь, изжога — имейте снисхождение к природной слабости или дефекту, я вас предупреждал, впрочем, зная, что не послушаетесь; я искаженный больной человек, оплывающий огарочек, но обратите внимание, почтеннейшие, как пылает, как плавится... а вы думали? Искусство требует... что поделаешь, придется нам напоследок попотеть, поволноваться — только ради бога, быстрее! Нынче не тот вечер, когда можно жаться у стен с деревянными лицами и потными ладошками. И вы, скромница в красной шапочке, и вы, карлик с розовым личиком Антон Антоныча Бидюка, — неотличимое сходство, даже зеркальные стеклышки нацеплены поверх папье-маше, даже остренький язычок сквозь прорезь облизывает губы; поздравляю заранее, первый приз обеспечен, только у стеночки стоять нельзя никак, при всем почтении к возрасту — попрыгаем, Антон Антоныч... да вы все еще молодцом, я начинаю подозревать, что вы бессмертны; будь вы действительно Бидюк, я бы шепнул вам на ушко облегчительную новость: насчет известных вам перемен в турецком кабинете, а также запуска

секретного спутника, в результате чего с будущей недели вас перестанут изводить черные псы с рыжими пятнами; сколько их теперь? сам сбился со счету. Простите, что придержал вас в сторонке, слишком хлопотно было бы с вами в одной истории. Надеюсь, вы меня поймете, коллега. В некотором смысле оба мы люди искусства и себе на уме, не так ли?.. А вы трое, важные господа, китайские болванчики, пожалуйста тоже в круг; поиграем в областную комиссию? Я не прочь, игра не хуже других, который год прыгаю... А вот и ваше величество? о нет, я никого не узнаю, как можно, ваше величество... который же вы у меня по счету? седьмой? да, шестерых повелителей пережил и все верчусь... не угодно ли с нами? Каждый в жизни развлекается как может, ваше величество, одни играют в шахматы, политику или баталии, переставляют фигурки или флажки на карте, углубляются в изысканные хитро-сплетения, другие разыгрывают увлекательные любовные сюжеты, третьи всю жизнь доискиваются до уравнения какого-нибудь там мета-гиперболического синтеза или, наоборот, расщепления, я уж не знаю, четвертые доводят до совершенства выделку искусственных одуванчиков, и надо сказать, ваше величество, последняя забава — самая безобидная и почтенная, поскольку в нее не втягиваются другие и материалом служит безболезненный воск. Но это уж кого как сподобит, ваше величество. Я — Прохор, то бишь артист, мне положен свой крест, хотя должен признаться, ваше величество, не стоило бы в наш век, бесформенный от многолюдства и сложности, давать человеку такое непосильное имя. Наша забота — красота и узор, ваше величество; полжизни за узор! и всю, если понадобится. Я фокусник-виртуоз, я сгущаю из воздуха ниточку, дурную паутинку, лишённую толщины, и ведь смотрите, как тянутся к ней со всех сторон, оформляются из мути, выстраиваются четкими кристалликами... переливы-то, грани-то какие!.. Вот... слышите восхищенный ропот? Наконец-то принцесса!.. Вот она. Не правда ли, она прекрасна? Конечно, ее невозможно узнать — и не из-за наряда, не из-за жалких бумажных очков, которые выдают у входа гостям в обмен на их лица, — но каковы эти затененные щеки, этот рот, комично-неуместный на худеньком личике, а теперь царственно-четкий, прелестнейшего рисунка рот. Я-то знал это всегда — хоть она даже превзошла мои ожидания; теперь можете убедиться... у меня есть формула, ваше величество, формула под двумя дифференциалами с точностью

до седьмого знака после запятой, но до поры это секрет, а пока обратите внимание, ваше величество, что любовь есть средство и инструмент красоты, а не наоборот, как уверяют непосвященные. Все подчинено красоте и узору, прекрасное уравнение есть генетический код жизни, а значит, предшествует ей. Но по боку теории!.. Как вам нравится это белое платье со сборчатыми манжетами, каких в здешних краях и не видывали, разве что на толкучке, в ветошном ряду, откуда оно трижды возвращалось непроданным? Ай, да старая колдунья, ай, пчелиная царица, ничто от нее в доме не укроется и никогда не укрывалось, ни в сундуке, ни в ящике. Мысленно целую ручку... Я всегда подозревал, старая карга, что ты придержала у себя ключи от всех замков. Нашла, выручила крестницу! Как было не помочь! И ведь почти без суфлера, чуть-чуть разве что в ухо поджужжали. Где они сейчас, сестры? Вон, в лягушиных рядах, и тут одинаковые. Представляю, как девочка удивилась, когда платье пришлось впору; впрочем, она-то не удивилась, уверяю вас, потому что она не просто мое создание, сгусток моей мысли, моей жизни, плоть от моей бессмертной загубленной души. Надеюсь, башмачки тебе тоже не жмут? Прекрасно, девочка, прекрасно, можно подумать, ты всю жизнь ходила в лодочках на высоких каблуках; у тебя элегантнейшая на земле походка — походка босой девушки; копытца не отменили ее, только придали завершенность. Смейтесь над моей гордостью, но я в праве... да: мое создание, ваше величество, и куда более настоящее, чем я сам, — вот в чем страх, от которого холодеют ладони... но об этом — тс-с! что уж теперь говорить! Надеюсь, старуха предупредила тебя, чтоб вернулась домой до полуночи, а то мачеха хватится? Да ты и сама знаешь — тебе ли это не знать! Не волнуйся, тут я с тобой, и принц твой уже знает, что ты здесь, пробивается к тебе — об этом есть кому позаботиться. Вон хоть бы тот, с лицом индюка, — ах, как он хочет подложить мне свинью, напакостить, посмеяться над моей проницательностью, заставить меня схватиться за сердце! — аж сопли на клюве набухли желчной кровью... Неужели я сумел вызвать такую злость? — О-роз по коже. Если б я не знал наверняка, что мальчик принц!.. принц, уверяю вас, достаточно взглянуть на эту синеву, которая не уместается вокруг зрачков и заливает всю наивную бумажную прорезь. Сегодня всего лишь первый акт их встречи, но он этого не знает, хотя мог бы и догадаться. Как трогательно он держит ее за руку даже в пау-

зах между танцами: боится, не исчезнет ли вдруг. Исчезнет, милый, все равно исчезнет, тебе еще придется ее упустить — не позже, чем без четверти полночь, и ты вволю набегаясь по дворам, отыскивая хозяйку крохотного башмачка. Потерпи, у вас впереди много времени. Разве так не лучше? Я поклялся преподнести своей дочери прекраснейшей из узоров, она способна оценить... Она не бросит камень в старика, у которого так страшно плавится мозг и так светятся нервы, что меня сейчас удобно демонстрировать студентам в качестве наглядного пособия по анатомии. Ведь все это ради нее, ваше величество... Почему вы усмехаетесь? Думаете, хочу оправдаться, а у самого, мол, главная забота — о формуле? Да хоть бы и так — чем плоха формула? С апофеозом, с пирком да свадебкой, вы еще увидите. — не не в чем извиняться, я имею право. Если уж на то пошло, ваше величество, суть всякой игры — в стремлении к совершенству и законченности мысли. Тот самый высоколобый интеллектual, который доискивается своего метасинтеза или там расщепления, — вы думаете, он заботится о сентиментальных оговорках, о высшей гармонии, о человеческом или хотя бы своем счастье? Ведь нет же, ваше величество, согласитесь, он ищет лишь совершенства, предела своего замысла, а там хоть воздух сгори и ты вместе с ним — это уж дело особое. У меня хоть замысел прекрасен... Конечно, и насчет добрейших замыслов вы могли бы напомнить мне аналогии, вплоть до всемирно-исторических... но стоит ли, ваше величество?.. Я и сам знаю. Один дурак с индюшачьей головой назвал меня романтиком. Дурак тоже иной раз попадает пальцем в небо... я не отказываюсь, я имею право, ваше величество, потому что в голове у меня черт знает что, можете убедиться, от одного моего взгляда люди движутся по траектории, и стены пульсируют, как резиновые, а рост — я прошу прощение за свой рост, ваше величество, тем более что этот купол — нелепейший головной убор, я сознаю, вдобавок он тесен и изношен, но это не моя вина, ваше величество, я давно хлопотал о ремонте, вы же знаете, там жесть вся проржавела. У меня под куполом боль, ваше величество, и отменнейшего качества, она сделана в лучшей лаборатории из вещества, которое идет на шаровые молнии, по секретной формуле, которую нельзя раскрывать, разве что вы прикажете; вся ее соль в двусмысленности, в очаровательной двусмысленности и —утовском намеке: фунт двусмысленности на полфунта намека; все это сдобрить изрядной

дозой высокомерной иронии, артистической провокации, и главное — перемешивать, перемешивать, не отрываясь, вплоть до седьмого знака после запятой...

Уже пошла пузырями краска на стенах, уже в вестибюле у трех китайских болванчиков сами собой, без спичек, вспыхнули едва сунутые в рот сигареты, а у человека с личиком Бидюка распустилась из пиджачной пуговицы малиновая гвоздика, уже у трубачей, которых Менъшутин заставлял играть второй час без перерыва, глаза налились бычьей краснотой — а он все поддавал жару и не слышал поскрипывания надвигающейся катастрофы. Если бы не эта боль, безнадежно оглушившая его, он должен был бы различить ее хруст хотя бы в момент, когда оркестр наконец оборвал свою музыку и трясогузка под сводами, точно потеряв опору в воздухе, резко упала вниз, выправившись уже над самыми головами, а оркестранты стали складывать на сцене свои инструменты, чтобы отдохнуть или потанцевать наравне с другими под радиолу, — и среди них тот, кого в действительности ждала его терпеливая дочь, ибо в бредовой, непозволительной его формуле давно были перепутаны и смещены знаки... Да что говорить, если бы не эта боль, которая с годами окончательно выкристаллизовалась в расчетливое безумие, во вдохновенную изощренность маньяка, сложились бы иначе многие судьбы, включая его собственную; и не в том была беда, что замысел, загубивший его жизнь, так фатально сошел с рельсов — кому приносил счастье бред, осуществившийся сполна?..

Все, что произошло потом, взгляд неискаженный, со стороны, описал бы как заурядную, причем весьма нелепую драку между Юрой Бешеным и Костей Андроновым — драку, в которую белозубый трубач влип как кур во щи: он в тот вечер и выпить-то не успел. Это было происшествие, обычнейшее для дворцовых танцулек, и если потом сына золотаря каким-то образом занесло на пресловутый обрыв над озером, да еще в такую туманную ночь, когда и трезвому немудрено было сорваться, — то исключительно по его собственной глупости и вине. Но лишь особо пристальный наблюдатель мог бы уловить неслучайное движение событий, заметить, как неумолимо назначенные к столкновению тела приближались друг к другу, погромыхая на стыках случайностей. Он, во всяком случае, не упустил бы момента, когда обоих парней стали сводить, подталкивать к Зое с разных сторон, не подозревавших

друг о друге, — из общего каверзного желания разыграть шутку с Прохором Ильичом и меньше всего заботясь о нелепой его дочке. Вот так. Был клубный вечер, была попытка грубоватой интриги в танцевальной толкотне, была драка и был несчастный случай — только и всего. Лишь для ума, вконец ослепленного невозможной идеей, это могло называться другими словами. При своем невероятном порой умении проникать в чужие души и предугадывать их шевеления, не говоря уж о поступках, сам Прохор Ильич, видно, и не обернулся в опасную сторону. Он не увидел, как трубач, только что спрыгнувший в зал с намерением выйти покурить на улицу, оказался цепко подхвачен некой Царевной-лягушкой в короне из золотой фольги и к концу танца очутился уже близ Зои. Он не заметил, как при первых тактах следующего танца все та же лягушка (или другая, неотличимая от нее, как близнец), злоупотребляя вольностью карнавальных порядков, буквально оторвала от Зои ее синеглазого кавалера, беспомощного перед внезапным вниманием, которого он удостоился у дам, и увлекла его в бурлящий круговорот, нашептывая на ухо свои вкрадчивые тинистые речи. Заинтересованный и трезвый наблюдатель счел бы существенным даже мелкий эпизод, когда Артемий Звенигородский, который в индюшачьей маске все время передвигался по кромке зала, не спуская глаз со своих подопечных, как раз в этот момент наткнулся на неизвестного, изображавшего Бидюка, и плечом сшиб с него очки; пока оба нашаривали их под ногами (причем неизвестный на секунду вынужден был приподнять свое папье-маше, оказавшись, как ни странно, действительно Бидюком), он потерял обоих из виду и упустил тот единственный тур, когда Зоя начала танцевать с Андроновым. Но существенней было то, что в зале к тому времени не оказалось Прохора Ильича, он только успел отлучиться на улицу, где на освещенной площадке под вольным небом давно шло свое веселье, тоже важное для его сумасшедшего сценария, потому что до полуночи оставалось полчаса и надо было проверить, все ли готово к близкой кульминации. Ему не было дела до того, что для всех, кроме него, это называлось другими словами. Вот так: была попытка розыгрыша или интрига на клубном вечере, была драка, несчастный случай. Добавьте к этому накаленный воздух, дурманящий запах клея от масок, легкое головокружение, которого добивался для своих целей Меншутин, — надо отдать ему должное; хорошо говорить

о взгляде неискаженном и трезвом, но полную трезвость в тот вечер мало кто сохранил; и дело отнюдь не только в обычных спиртных градусах — хотя и без них, как водится, не обошлось; словом, когда Прохор Ильич вернулся, ни дочери его, ни молодых людей уже не было в зале. Все произошло так мгновенно, что никто не успел толком заметить подробностей, и впоследствии свидетельства оказались в чем-то противоречивыми; одни уверяли, что Бешеный вырвался из перепончатых зеленых перчаток, даже не подождав окончания танца, другие помнили, что музыка уже не звучала, когда он вновь был возле Зои и держал ее за руку — должно быть, не в меру крепко, потому что она чуть прикусила губу; но все соглашались, что это была довольно смешная мизансцена, и трубач, который сам еще держал девушку за другую руку, действительно открыл в улыбке свои великолепные зубы. Потом — искра, суматоха, платок, прижатый к Костиному носу, невесть откуда возникшие дежурные — Менъшутин застал лишь легкое облачко озона над местом стычки да тревожный сквозняк, от которого, словно текучее стекло, исказились и сдвинулись очертания воздуха, так что искривленные окна уплыли со своих мест и не могли найти обратной дороги, а над головами низким дымком сгустился ропот. Некоторым показался странным последующий поступок Прохора Ильича: вместо того чтобы поспешить вслед и, может быть, предотвратить худшее, он вдруг взметнулся на сцену, где уже собирались музыканты, и дал знак начинать, но тут же, среди общего замешательства, сам кинулся к микрофону, каким-то особым манером сложил перед ртом ладони, и чистый звук небывалой трубы заставил любопытных прихлынуть к сцене... Впрочем, странностью это могло показаться лишь тем, кто продолжал считать нормальным все прочее. Должно быть, его прежде всего испугал этот ропот, и первым его отчаянным порывом было как угодно, только заглушить его в зародыше; он еще не успел осмыслить остального, да и все равно не мог уже ничего предотвратить, ибо там, в тени за дворцом, все завершилось так же молниеносно, как вспыхнуло, в яростной и нелепой суматохе, в суতোлке сцепившихся тел, где несколько доброхотов пытались удержать Бешеного за руки, а Костя, с платком у носа, уговаривал их остановиться, он меньше всех понимал, что произошло, он не искал никакого соперничества и драки, и ему было пора в оркестр, но хлопоты его словно лишь подливали масла в огонь, и меж-

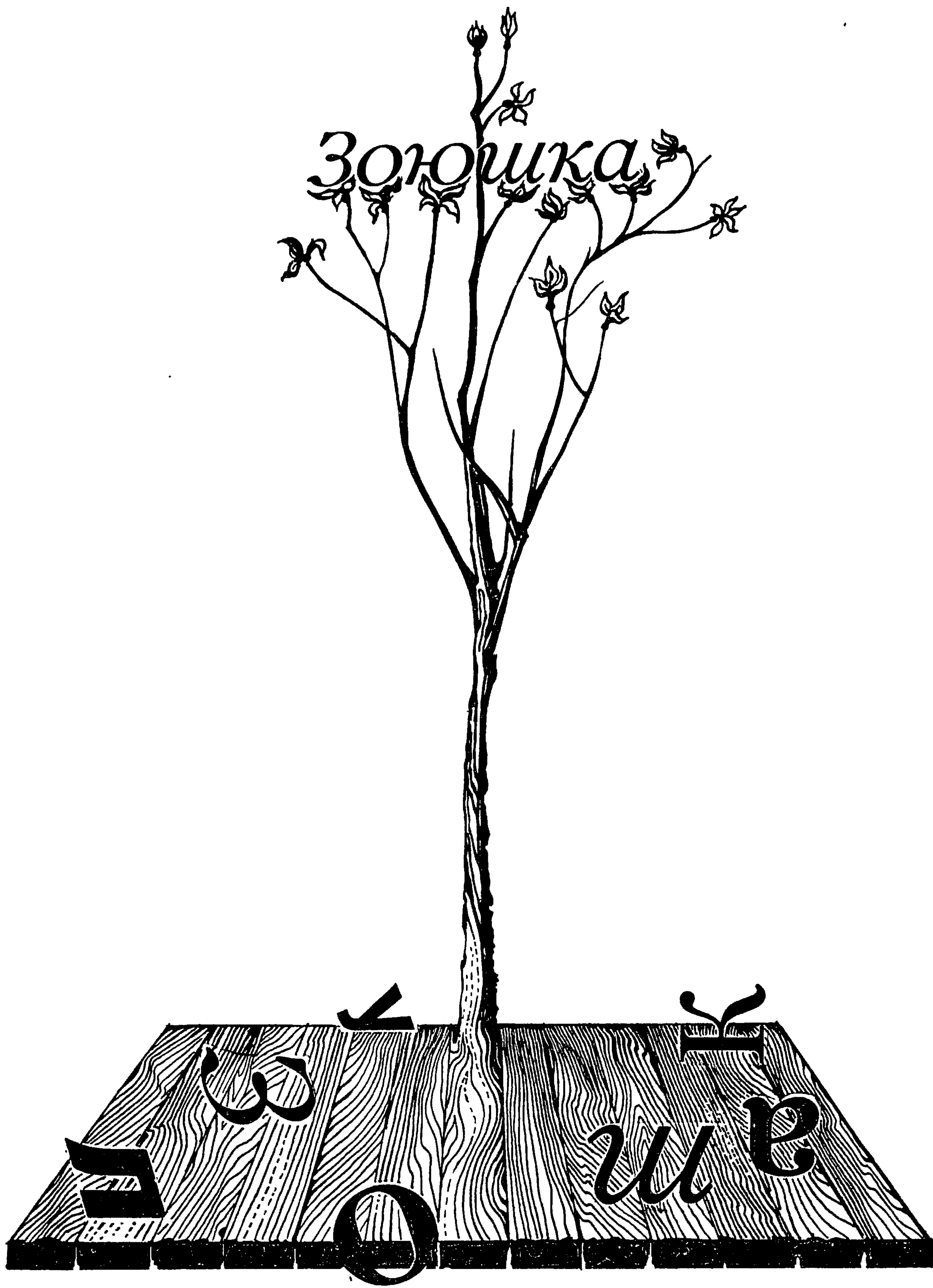
ду ними бесновался — Митька Пузиков, неистребимый скорморох, из той проклятой породы людей, что ради шуточки не пожалеют отца с матерью, один из тех, что неспособны затеять что-либо сами, но выскакивают как на заказ третьими в любой стычке и сваре, безошибочно определяют слабую сторону и берут на себя инициативу от чужого имени. Этот холуй улюлюкал перед Бешеным за целую толпу, с безопасной близости вспоминал все словечки и издевки на темы золота, которыми изводил когда-то своего однокашника. Наконец получил-таки пинок (тот сумел вырваться из державших его рук) — и подлое вдохновение подсказало ему единственное, чего нельзя было делать: он не побрезговал поднять с земли полузасохший ошметок коровьей лепешки и с хохотом мазнул противника по лицу. Крик несчастного юноши был похож на заячий стон, его тотчас выпустили, и он, схватившись за щеку, ослепленно побежал прочь, вниз, в черноту ночного парка. «Умываться пошел», — неуверенно гоготнул Митька, но никто уже не засмеялся — и никто не заметил девушки в белом платье, метнувшейся к той же тропе; ясный, неправдоподобный звук трубы взвивался над ними из репродукторов в высокое звездное небо, к бескрайним мирам, в холодную невозмутимую бездну...

14

Наконец-то сияние высвободилось, прорвалось сквозь тесный тяжелый свод; увенчанный бубенцами колпак упал с его запрокинутой головы, он осторожно положил свою трубу на стул, неловко раскланялся в ответ восторженным воплям и заковылял из дворца, не ища пути, напрямик, проламываясь сквозь стены лабиринта. Огромная зрелая луна поднималась в небе, дворец на ее фоне казался игрушечным; внизу над озером ярко светился туман — как зарево большого затонувшего города. Туман прилипал к стволам деревьев, и невозможно было выбрать щелочку, чтобы его обойти; Меншутин углублялся наобум в его вязкую, как сгущенное молоко, неживую, как влажная вата, плоть, втягивал его в легкие, и в этом сипящем астматическом месиве глух его бедный голос, выкликавший имя несуществующей героини, так сходное с ласкательным именем его дочери. Он не размышлял над направлением, безошибочное чутье ясновидящих и сумасшедших само влекло его вниз: через несколько шагов он нашел на тропинке брошенные белые туфельки и понял, что не ошибся,

но, лишь сунув их машинально в карман, с ужасом осознал, что это была за тропинка и к какому обрыву она прямоком вела. Он захрипел и мелкой хромой собачьей трусцой ринулся дальше вниз. Корни деревьев шевелились у него под ногами, туман чавкал, булькал в ушах, бельмом закрывал глаза, все плотней набивался в легкие. Наконец он почувствовал, что не может больше дышать, остановился и из последних сил попытался вытолкнуть в крике душивший его сгусток. На этот раз его услышали, но он этого уже не понял. От крика его дорога вдруг зашевелилась, несколько испугнутых собак пробежали от озера вверх, за ними потянулись новые, они возникали из боковых аллей, выныривали из кустов, из-под земли, из тумана, обтекая Меньшутину все более плотным живым потоком, и в белом мутном сиянии не было видно ни начала его, ни конца — как будто разверзлись где-то внизу таинственные недра и извергали их на поверхность: маленьких и больших, неразличимых в общем потоке, спешивших на свое неведомое собачье празднество, наполнявших ночь призрачным шорохом и сипом своего дыхания. Меньшутин чувствовал, что силы оставляют его, и хотел лишь одного: устоять на ногах, пока не иссякнет наваждение...

Когда он пришел в себя, воздух вокруг был уже прозрачен, черное чистое небо простиралось прямо перед глазами, величественные созвездия совершали в нем свой непрекаемый путь, и на миг ему показалось, что он вновь помнит названия каждого из них, насущные вечные имена, таившие в себе ответ и успокоение; но помнил он их бессловесно, потому что не мог сейчас пошевелить языком, чтобы выговорить их. Это был миг, заполненный бездонной ясностью, слабым неярким запахом травы и жестких листьев, уже готовых к осени, бормотанием ночных насекомых, глубиной и подлинностью воздуха, сквозь который он несся когда-то навстречу своей любимой, копошением невидимой подземной жизни, где прах и воспоминания становились пищей тьмы существ, где мудро и неумолимо перемещивались лепестки вишен и иссохшие семена, минувшее и настоящее, надрыв и смех, золотари и актеры, недосяжимые мифы и карточные короли — превращаясь в соки для новых корней и подтверждая величие и святость единственной, не подвластной никому жизни: надо было только вспомнить слово, которым это называлось, чтобы закрепить мгновенное озарение. Но тут звездную черноту заслонило чье-то лицо, и хотя оно было затенено, он сразу



узнал его и понял, что ничего другого уже не вспомнит.

— А... — произнес он, думая, что говорит вслух и что язык его обрел способность шевелиться. — Я так и понял... я чувствовал, что передернула подлая цыганка. Пододвинула вальта. Но не сумел поймать за руку. Накладочка... в нашем деле бывает. Я не возражаю... пусть так... хоть это пресный вариант, из первого ряда, с очевидной киноафиши. У меня было тоньше... но пусть... Мальчика тоже жалко... И ты здесь? — Он увидел над собой дочь и попытался улыбнуться, но тут же во взгляде его появилось беспокойство, заметное даже в лунном свете.

— Ничего. Будет порядок, — сверкнул зубами Андронов; он был рад, что Прохор Ильич наконец раскрыл глаза; теперь надо было бежать за врачом — самому или послать девушку. Бесхитростный парень еще не знал, как вклинится этот шальной несуразный вечер в его жизнь, как переломит наново судьбу и характер; пока что он действовал сноровисто и разумно: расстегнул Меньшутину ворот рубахи, снял лоскутную накидку и пиджак, предварительно вынув из карманов белые туфельки (на землю при этом выпала жестяная табличка, Андронов различил на ней собачий портрет с надписью и на всякий случай сунул себе в карман); потом устроил из пиджака сверток и положил под затылок Прохора Ильича. Не без испуга успел он заметить, что одна рука Меньшутина гораздо холоднее другой; в лунном свете круглые пятна на его щеках казались черными, рот был горестно искривлен, в глубине сплошных зрачков светились желтые точки, расширенный этот взгляд теперь уже не с беспокойством — с ужасом был устремлен на белую, прозрачную под луной туфельку, которую трубач забывчиво держал в руке.

— Это зачем еще у тебя? — с усилием спрашивал Меньшутин. — Зачем ты уже принес ее ей?.. Вы что, спешите меня в гроб вогнать? Господи, — он застонал — на этот раз даже вслух, — зачем же так сразу?.. Ведь рано еще... ведь еще не конец... я еще думал... Ах, самодеятельность... ваше величество, — забеспокоился он, — вы видите, с кем мне приходится работать? Я не виню... мое упущение, я не успел с ним заняться... мой просчет... накладочка, как говорится. — Ему становилось все труднее выводить слова, под затылком его была глыба твердого льда, от ее холода немели позвонки на шее и корень языка, приходилось всем телом помогать его движению. — Прошу простить, ваше величество, — бормотал он, стараясь при всем том сохранить

в голосе баритональное благородство.— Тонкая сфера... и старость... старость, ваше величество, это Рим... да, а не турусы на колесах. Если б я знал с самого начала... а хоть бы и знал,— вдруг засмеялся он,— все равно не отказываюсь. [вообще не понимаю, в чем меня обвиняют,— произнес он с внезапной брезгливостью и раздражением.— Я артист, в нашем деле свои законы. Но прошу господ присяжных заседателей принять смягчающее обстоятельство: меньше всех я жалел себя... Впрочем, это уже неважно... осталась самая малость, пирок да свадебка... со временем, со временем... но это уже без меня. Ах, зачем только так скоро, так второпях... ведь столько еще было возможностей. Я не сержусь, я всем доволен и всех благодарю... теперь только последние незначительные указания... для эпилога, так сказать. Впрочем, это тоже неважно.

Он говорил беззвучно, с последним усилием, как человек, которому надо хоть ползком, но добраться до конца, ибо он знает, что его замерший искривленный рот никогда больше не произнесет ни слова — и в то же время с отчаянием сознавая бесполезность этого усилия, потому что сколько бы ни оставалось времени до предсказанных им событий — там начиналась уже другая история и ему нечего было в ней делать... Звезды над его лицом между тем утратили свою неподвижность, закопошились, задвигались, сначала одна, потом другая неторопливо пересекли небосвод. Спутники, что ли? — попытался объяснить он для себя — и в тот же момент услышал, как на старой колокольне ударили в колокол. Раз,— начал считать он,— два... господи, попадет мне еще за этот звон... Не согласовал ведь,— подумал он, с удовлетворением представляя себе переполох во дворце. На двенадцатом ударе над дворцовыми башнями взлетел фейерверк, взметнув в бездну сноп недолговечных искусственных звезд, куда более прекрасных для него, чем вечные,— и вместе с ним лопнула, разорвалась ослепительная молния — но прежде, чем настала темнота, прежде, чем распустились в вышине фантастические грозди, меняя цвет от бело-желтого к зеленому, красному, синему и напоследок к фиолетовому, освещая лицо Менъшутина с черными пятнами на щеках безжизненным светом,— он успел еще торжествующе улыбнуться точности и блеску, с каким все-таки осуществился его продуманный до секунды расчет.

Содержание

День в феврале

5

Прохор Меньшутин

65

Этюд в масках

187

Два Ивана

303

Музей в Нечайске

502

Марк Сергеевич Харитонов

День в феврале

Редактор

В. Г. Клименко

Художественный редактор

Е. Ф. Капустин

Технические редакторы

Н. Н. Талько и Н. В. Сидорова

Корректор

И. Н. Голубева

ИБ № 6397

Сдано в набор 29.03.88. Подписано к печати 9.11.88. А 05432. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Школьная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 27,47. Тираж 30 000 экз. Заказ № 199. Цена 2 р. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109